

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ИОСИФ
БРОДСКИЙ
* СТИХОТВОРЕНИЯ *



Eesti Raamat



ИОСИФ БРОДСКИЙ
СТИХОТВОРЕНИЯ

ИОСИФ
БРОДСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Таллинн
«Ээсти раамат»
«Александра»

Нобелевская лекция 1987

Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, — оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание.

Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться что называется «урби эт орби» с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что — по причинам прежде всего стилистическим — писатель не может говорить за писателя, особенно — поэт за поэта; что окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уистен Оден, они невольно говорили бы именно за самих себя и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость.

Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае, они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой — но всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности. Ибо быть лучше них на бумаге невозможно; невозможно быть лучше них и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они ни были, заставляют меня часто — видимо, чаще, чем следовало бы — сожалеть о движении времени. Если тот свет существует — а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой — если тот свет существует, то они, надеюсь, простят меня и

качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится.

Я назвал лишь пятерых — тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги хотя бы уже потому, что, не будь их, как человек и как писатель я бы стоил немногого: во всяком случае я не стоял бы сегодня здесь. Их, этих теней — лучше: источников света — ламп? звезд? было, конечно же, больше, чем пятеро, и любая из них способна обречь на абсолютную нищету. Число их велико в жизни любого сознательного литератора; в моем случае оно удваивается, благодаря тем двум культурам, к которым я волею судеб принадлежу. Не облегчает дела также и мысль о современниках и собратях по перу в обеих этих культурах, о поэтах и прозаиках, чьи дарования я ценю выше собственного и которые, окажись они на этой трибуне, уже давно бы перешли к делу, ибо у них есть больше, что сказать миру, нежели у меня.

Поэтому я позволю себе здесь ряд замечаний — возможно, нестройных, сбивчивых и могущих озадачить вас своей бессвязностью. Однако количество времени, отпущенное мне на то, чтоб собраться с мыслями, и самая моя профессия защитят меня, надеюсь, хотя бы отчасти от упреков в хаотичности. Человек моей профессии редко претендует на систематичность мышления; в худшем случае, он претендует на систему. Но и это у него, как правило, заемное: от среды, от общественного устройства, от занятий философией в нежном возрасте. Ничто не убеждает художника более в случайности средств, которыми он пользуется для достижения той или иной — пусть даже и постоянной — цели, нежели самый творческий процесс, процесс сочинительства. Стихи, по слову Ахматовой, действительно растут из сора; корни прозы — не более благородны.

II

Если искусство чему-то и учит (и художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней — и наиболее буквальной — формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности — превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную — но не стихотворение, скажем, Райнера Мариа Рильке. Произведение искусства, литература в особенности и стихотворение в частности, обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности, ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия — равнодушие и разногласие, на месте решимости к действию — невнимание и брезгливость. Иными словами, в нолики, которыми ревнители всеобщего блага и повелители масс норовят оперировать, искусство вписывает «точку-точку-запятую с минусом», превращая каждый нолик в пусть не всегда привлекательную, но человеческую рожицу.

Великий Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую «лица необщим выраженьем». В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщности этой мы подготовлены уже как бы генетически. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный

шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию — тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним вместе не лягут и спасибо не скажут.

Язык и, думается, литература — вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать — бесконечного, по отношению к временному, к ограниченному. По крайней мере, до тех пор пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, есть, по определению, форма прошедшего времени, пытающегося навязать себя настоящему (а зачастую и будущему), и человек, чья профессия язык, — последний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной опасностью для писателя является не столько возможность (часто реальность) преследования со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государства, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — но всегда временными — очертаниями.

Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике — всегда «вчера»; язык, литература — всегда «сегодня» и часто — особенно в случае ортодоксальности той или иной политической системы — даже и «завтра». Одна из заслуг литературы в том и состоит, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным именем «жертвы истории». Искусство вообще и литература в частности тем и замечательно, тем и отличается от жизни, что всегда бежит повторения. В обыденной жизни вы можете рассказать тот же самый анекдот трижды и трижды, вызвав смех, оказаться

душою общества. В искусстве подобная форма поведения именуется «клише». Искусство есть орудие безоткатное, и развитие его определяется не индивидуальностью художника, но динамикой и логикой самого материала, предыдущей судьбой средств, требующих найти (или подсказывающих) всякий раз качественно новое эстетическое решение. Обладающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто оказывается «впереди прогресса», впереди истории, основным инструментом которой является — а не уточнить ли нам Маркса? — именно клише.

На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, следует литературе говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленный младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, к нему тянущийся, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный.

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое переживание — всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более частным, и частность эта, обретающая порою

форму литературного (или какого-либо иного) вкуса, уже сама по себе может оказаться если не гарантией, то формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра, сколько в том, что зло, особенно политическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее.

Именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом смысле следует понимать замечание Достоевского, что «красота спасет мир» или высказывание Мэтью Арнолда, что «нас спасет поэзия». Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно. Эстетическое чутье в человеке развивается весьма стремительно, ибо, даже не полностью отдавая себе отчет в том, чем он является и что ему на самом деле необходимо, человек, как правило, инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает. В антропологическом смысле, повторяю, человек является существом эстетическим прежде, чем этическим. Искусство поэтому, в частности литература, не побочный продукт видового развития, а ровно наоборот. Если тем, что отличает нас от прочих представителей животного царства, является речь, то литература и в частности поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет собой, грубо говоря, нашу видовую цель.

Я далек от идеи поголовного обучения стихосложению и композиции; тем не менее подразделение общества на интеллигенцию и всех остальных представляется мне неприемлемым. В нравственном отношении подразделение это подобно подразделению общества на богатых и нищих; но если для существования социального неравенства еще мыслимы какие-то чисто физические, материальные обоснования, для неравенства интеллектуального они немислимы. В чем-чем, а в

этом смысле равенство нам гарантировано от природы. Речь идет не об образовании, а об образовании речи, малейшая приблизительность в которой чревата вторжением в жизнь человека ложного выбора. Существование литературы подразумевает существование на уровне литературы — и не только нравственно, но и лексически. Если музыкальное произведение еще оставляет человеку возможность выбора между пассивной ролью слушателя и активной исполнителя, произведение литературы — искусства, по выражению Монтале, безнадежно семантического — обрекает его на роль только исполнителя.

В этой роли человеку выступать, мне кажется, следовало бы чаще, чем в какой-либо иной. Более того, мне кажется, что роль эта в результате популяционного взрыва и связанной с ним все возрастающей атомизацией общества, т. е. со все возрастающей изоляцией индивидуума, становится все более неизбежной. Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой человек моего возраста, но мне кажется, что в качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение — не монолог, но разговор писателя с читателем — разговор, повторяю, крайне частный, исключаяющий всех остальных, если угодно — обособно мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, как, впрочем, и наоборот, независимо от того, великий он писатель или нет. Равенство это — равенство сознания, и оно остается с человеком на всю жизнь в виде памяти, смутной или отчетливой, и рано или поздно, кстати или некстати, определяет поведение индивидуума. Именно это я и имею в виду, говоря о роли исполнителя, тем более естественной, что роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя.

В истории нашего вида, в истории «сапиенса», книга — феномен антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса. Возникшая для того, чтоб дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что «сапиенс» этот способен, книга является средством перемещения в про-

странстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы. Перемещение это в свою очередь, как всякое перемещение, оборачивается бегством от общего знаменателя, от попытки навязать знаменателя этого черту, не поднимавшуюся ранее выше пояса, нашему сердцу, нашему сознанию, нашему воображению. Бегство это — бегство в сторону необщего выражения лица, в сторону числителя, в сторону личности, в сторону частности. По чьему бы образу и подобию мы ни были созданы, нас уже пять миллиардов, и другого будущего, кроме очерченного искусством, у человека нет. В противном случае нас ожидает прошлое — прежде всего, политическое, со всеми его массовыми полицейскими прелестями.

Во всяком случае, положение, при котором искусство вообще и литература в частности являются в обществе достоянием (прерогативой) меньшинства, представляется мне нездоровым и угрожающим. Я не призываю к замене государства библиотекой — хотя мысль эта неоднократно меня посещала — но я не сомневаюсь, что, выбирай мы наших властителей на основании их читательского опыта, а не на основании их политических программ, на земле было бы меньше горя. Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. Хотя бы уже по одному тому, что насущным хлебом литературы является именно человеческое разнообразие и безобразие, она, литература, оказывается надежным противовесом от каких бы то ни было — известных и будущих — попыток тотального, массового подхода к решению проблем человеческого существования. Как система нравственного, по крайней мере, страхования, она куда более эффективна, нежели та или иная система верований или философская доктрина.

Потому что не может быть законов, защищающих нас от самих себя, ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступления против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование

авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое — пренебрежение книгами, их не-чтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация — она платит за это своей историей. Живя в той стране, в которой я живу, я первый был бы готов поверить, что существует некая пропорция между материальным благополучием человека и его литературным невежеством; удерживает от этого меня, однако, история страны, в которой я родился и вырос. Ибо сведенная к причинно-следственному минимуму, к грубой формуле, русская трагедия — это именно трагедия общества, литература в котором оказалась прерогативой меньшинства: знаменитой русской интеллигенции.

Мне не хочется распространяться на эту тему, не хочется омрачать этот вечер мыслями о десятках миллионов человеческих жизней, загубленных миллионами же, — ибо то, что происходило в России в первой половине XX века, происходило до внедрения автоматического стрелкового оружия — во имя торжества политической доктрины, несостоятельность которой уже в том и состоит, что она требует человеческих жертв для своего осуществления. Скажу только, что — не по опыту, увы, а только теоретически — я полагаю, что для человека, читавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего. И я говорю именно о чтении Диккенса, Стенделя, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и т. д., т. е. литературы, а не о грамотности, не об образовании. Грамотный-то, образованный-то человек вполне может, тот или иной политический трактат прочтя, убить себе подобного и даже испытать при этом восторг убеждения. Ленин был грамотен, Сталин был грамотен, Гитлер тоже; Мао-дзедун, так тот даже стихи писал; список их жертв, тем не менее, далеко превышает список ими прочитанного.

Однако, перед тем как перейти к поэзии, я хотел бы добавить, что русский опыт было бы разумно рассматривать как

предостережение хотя бы уже потому, что социальная структура Запада в общем до сих пор аналогична тому, что существовало в России до 1917 года. (Именно этим, между прочим, объясняется популярность русского психологического романа XIX века на Западе и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, представляются, видимо, читателю не менее диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними.) Одних только политических партий, например, накануне октябрьского переворота 1917 года в России существовало уж никак не меньше, чем существует сегодня в США или Великобритании. Иными словами, человек бесстрастный мог бы заметить, что в определенном смысле XIX век на Западе еще продолжается. В России он кончился; и если я говорю, что он кончился трагедией, то это прежде всего из-за количества человеческих жертв, которые повлекла за собой наступившая социальная и хронологическая перемена. В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор.

III

Хотя для человека, чей родной язык — русский, разговоры о политическом зле столь же естественны, как пищеварение, я хотел бы теперь переменить тему. Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты. В этом их соблазн, сходный по своей природе с соблазном социального реформатора, зло это порождающего. Осознание этого соблазна и отталкивание от него в определенной степени ответственны за судьбы многих моих современников, не говоря уже о братьях по перу, ответственны за литературу, из-под их перьев возникшую. Она, эта литература, не была ни бегством от истории, ни заглушением памяти, как это может показаться

со стороны. «Как можно сочинять музыку после Аушвица?» — вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить тот же вопрос, заменив в нем название лагеря, — повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких: «А как после Аушвица можно есть ланч?» — заметил на это как-то американский поэт Марк Стрэнд. Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.

Это поколение — поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной, самой природой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось — по крайней мере, в России, — есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд своей к нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня. И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой. Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом — точнее, на пугающем своей опустошенностью месте, и что скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием.

Существовал, вероятно, другой путь — путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минимализма, пресекаемого дыхания. Если мы от него отказались, то вовсе не потому, что он казался нам путем самодраматизации, или потому что мы были чрезвычайно одушевлены идеей сохране-

ния наследственного благородства известных нам форм культуры, равнозначных в нашем сознании формам человеческого достоинства. Мы отказались от него, потому что выбор на самом деле был не наш, а выбор культуры — и выбор этот был опять-таки эстетический, а не нравственный. Конечно же, человеку естественней рассуждать о себе не как об орудии культуры, но наоборот, как о ее творце и хранителе. Но если я сегодня утверждаю противоположное, то это не потому что есть определенное очарование в перефразировании на исходе XX столетия Плотина, лорда Шефтсбери, Шеллинга или Новалиса, но потому, что кто-кто, а поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования. Язык же — даже если представить его как некое одушевленное существо (что было бы только справедливым) — к этическому выбору не способен.

Человек принимается за сочинение стихотворения по разным соображениям: чтоб завоевать сердце возлюбленной, чтоб выразить свое отношение к окружающей его реальности, будь то пейзаж или государство, чтоб запечатлеть душевное состояние, в котором он в данный момент находится, чтоб оставить — как он думает в эту минуту — след на земле. Он прибегает к этой форме — к стихотворению — по соображениям, скорей всего, бессознательно-миметическим: черный вертикальный сгусток слов посреди белого листа бумаги, видимо, напоминает человеку о его собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу. Но независимо от соображений, по которым он берется за перо, и независимо от эффекта, производимого тем, что выходит из-под его пера, на его аудиторию, сколь бы велика или мала она ни была, — немедленное последствие этого предприятия — ощущение вступления в прямой контакт с языком, точнее — ощущение немедленного впадания в зависимость от ононого, от всего, что на нем уже высказано, написано, осуществлено.

Зависимость эта — абсолютная, деспотическая, но она же

и раскрепощает. Ибо будучи всегда старше, чем писатель, язык обладает еще колоссальной центробежной энергией, сообщаемой ему его временным потенциалом — то есть всем лежащим впереди временем. И потенциал этот определяется не столько количественным составом нации, на нем говорящей, хотя и этим тоже, сколько качеством стихотворения, на нем сочиняемого. Достаточно вспомнить авторов греческой или римской античности, достаточно вспомнить Данте. Создаваемое сегодня по-русски или по-английски, например, гарантирует существование этих языков в течение следующего тысячелетия. Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Или, как сказал великий Оден, он — тот, кем язык жив. Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих, но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он лучше приспособлен к мутации.

Пишущий стихотворение однако пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. Существует, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки — посредством откровения. Отличие поэзии от прочих форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготая преимущественно ко второму и третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение

пишет его прежде всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом.

Сад

О, как ты пуст и нем!

В осенней полумгле
сколь призрачно царит прозрачность сада,
где листья приближаются к земле
великим тяготением распада.

О, как ты нем!

Ужель твоя судьба
в моей судьбе угадывает вызов,
и гул плодов, покинувших тебя,
как гул колоколов, тебе не близок?

Великий сад!

Даруй моим словам
стволов круженье, истины круженье,
где я бреду к изогнутым ветвям
в паденье листьев, в сумрак возрожденья.

О, как дожить

до будущей весны
твоим стволам, душе моей печальной,
когда плоды твои унесены
и только пустота твоя реальна.

Нет, уезжать!

Пускай куда-нибудь
меня влекут громадные вагоны.
Мой дольний путь и твой высокий путь —
теперь они тождественно огромны.

Прощай, мой сад!

Надолго ль? . . . Навсегда.

Храни в себе молчание рассвета,
великий сад, роняющий года
на горькую идиллию поэта.

1960

И небо над ними,
как птица над погостом,
и, словно стоя
 перед запертой дверью,
некто стучит,
 забивая гвозди
в прошедшее,
в настоящее,
в будущее время.

Никто не придет
 и никто не снимет,
стук молотка
 вечным ритмом станет.
Земля гипербол
 лежит под ними,
как небо метафор
 плывет над нами!

1960

Песенка

По холмам поднебесья,
по дороге неблизкой,
возвращаясь без песни
из земли италийской,
над страной огородов,
над родными полями
пролетит зимородок
и помашет крылами.

И с высот Олимпийских,
недоступных для галки,
там, на склонах альпийских,
где желтеют фиалки, —
хоть глаза ее зорки
и простор не тревожит, —
видит птичка пригорки,
но понять их не может.

Между сосен на кручах
птица с криком кружится
и, замешкавшись в тучах,
вновь в отчизну стремится.
Помнят только вершины
да цветущие маки,
что на Монте-Кассино
это были поляки.

1960(?)

* *
*

Теперь все чаще чувствую усталость,
все реже говорю о ней теперь,
о, промыслов души моей кустарность,
веселая и теплая артель.

Каких ты птиц себе изобретаешь,
кому их даришь или продаешь,
и в современных гнездах обитаешь,
и современным голосом поешь.

Вернись, душа, и перышко мне вынь!
Пускай о славе радио споем нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета.

Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.

Вот я иду, а где-то ты летишь,
уже не слыша сетований наших,
вот я живу, а где-то ты кричишь
и крыльями взволнованными машешь.

11 декабря 1960

* *
*

Л. М.

Приходит время сожалений.
При полусвете фонарей,
при полумраке озарений
не узнавать учителей.

Так что-то движется меж нами,
живет, живет, отговорив,
и, побеждая временами,
зовет любовников своих.

И вся-то жизнь — биенье сердца,
и говор фраз, да плеск вины,
и ночь над лодочкою секса
по слабой речке тишины.

Простимся, позднее творенье
моих навязчивых щедрот,
побед унылое паренье
и утлой нежности полет.

О, господи, что движет миром,
пока мы слабо говорим,
что движет образом немилым
и дышит обликом моим.

Затем, чтоб с темного газона
от унижительных утрат
сметать межвременные зерна
на победительный асфальт.

О, все приходит понемногу
и говорит — живи, живи.
Кружи, кружи передо мною
безумным навыком любви.

Свети на горестный посев,
фонарь сегодняшней печали,
и пожимай во тьме плечами,
и сокрушайся обо всех.

февраль—март 1961

Сонет

Г. П.

Мы снова проживаем у залива,
и проплывают облака над нами,
и современный тарахтит Везувий,
и оседает пыль по переулкам,
и стекла переулков дребезжат.
Когда-нибудь и нас засыпет пепел.

Так я хотел бы в этот бедный час
приехать на окраину в травмае,
войти в твой дом,
и если через сотни лет
придет отряд раскапывать наш город,
то я хотел бы, чтоб меня нашли
оставшимся навек в твоих объятьях,
засыпанного новою золой.

ноябрь 1961

Рождественский романс

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной кораблик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц,
в ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый,
полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый год по темно-синей
волне среди моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь начнется вправо,
качнувшись влево.

1961, декабрь, 28-е

Через два года

Нет, мы не стали глуше или старше,
мы говорим слова свои, как прежде,
и наши пиджаки темны все так же,
и нас не любят женщины все те же.

И мы опять играем временами
в больших амфитеатрах одиночеств,
и те же фонари горят над нами,
как восклицательные знаки ночи.

Живем прошедшим, словно настоящим,
на будущее время непохожим,
опять не спим и забываем спящих,
и так же дело делаем все то же.

Храни, о юмор, юношей веселых
в сплошных круговоротах тьмы и света
великими для славы и позора
и добрыми — для суетности века.

1961

Я как Улисс

О. Б.

Зима, зима, я еду по зиме,
куда-нибудь по видимой отчизне,
гони меня, ненастье, по земле,
хотя бы вспять, гони меня по жизни.

Ну, вот Москва и утренний уют
в арбатских переулках парусиных,
и чужаки по-прежнему спуют
в январских освещенных магазинах.

И желтизна разрозненных монет,
и цвет лица криптоновый все чаще,
гони меня, как новый Ганимед,
хлебну зимой изгнаннической чаши

и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге, повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.

Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней, и сладостней, и чище.

Мелькай, мелькай по сторонам, народ,
я двигаюсь, и кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь по-прежнему обратно.

Так человека встречного лови
и все тверди в искусственном порыве:
от нынешней до будущей любви
живи добрей, страдай неприхотливей.

1961

* *
*

Бессмертия у смерти не прошу.
Испуганный, возлюбленный и нищий, —
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней, и сладостней, и чище.

Как широко на набережных мне,
как холодно, и ветренно, и вечно,
как облака, блестящие в окне,
надломленны, легки и быстротечны.

И осенью и летом не умру,
но всколыхнется зимняя простынка,
взгляни, любовь, как в розовом углу
горит меж мной и жизнью паутинка.

И что-то, как раздавленный паук,
во мне бежит и странно угасает.
Но выдохи мои и взмахи рук
меж временем и мною повисают.

Да. Времени — о собственной судьбе
кричу все громче голосом печальным.
Да. Говорю о времени себе,
но время мне отвечает молчаньем.

Лети в окне и вздрагивай в огне,
слетай, слетай на фитилечек жадный.
Свисти, река! звони, звони по мне,
мой Петербург, мой колокол пожарный.

Пусть время обо мне молчит.
Пускай легко рыдает ветер резкий
и над моей могилою еврейской
младая жизнь настойчиво кричит.

1961(?)

Июльское интермеццо

1. В письме на Юг

Г. И. Гинзбургу-Воскову

Ты уехал на Юг, а здесь настали теплые дни,
нагревается мост, ровно плещет вода, пыль витает,
я теперь прохожу в переулке, всё в тени, всё в тени, все в тени,
и вблизи надо мной твой пустой самолет пролетает.

Господи, я говорю, помоги, помоги ему,
я дурной человек, но ты помоги, я пойду, пойду прощусь,
Господи, я боюсь за него, нужно помочь, я ладонь подниму,
самолет летит, Господи, помоги, я боюсь.

Так боюсь за себя. Настали теплые дни, так тепло,
пригородные пляжи, желтые паруса посреди залива,
теплый лязг трамваев, воздух в листьях, на той стороне
светло,
я прохожу в тени, вижу воду, почти счастливый.

Из распахнутых окон телефоны звонят, и квартиры шумят,
и деревья листвой полны,
солнце светит вдали, солнце светит в горах — над ним,
в этом городе вновь настали теплые дни,
помоги мне не быть, помоги мне не быть здесь одним.

Пробегай, пробегай, ты любовник, и здесь тебя ждут,
вдоль решеток канала, пробегай, задевая рукой гранит,
ровно плещет вода, на балконах кусты цветут,
вот горячей листвой над каналом каштан шумит.

С каждым днем за спиной все плотней закрываются окна
оставленных лет,
кто-то смотрит вослед — за стеклом, все глядит холодной,
вперед, кроме улиц твоих, никого, ничего уже нет,
как поверить, что ты проживешь еще столько же дней.

Потому-то все чаще, все чаще ты смотришь назад,
значит, жизнь — только утренний свет, только сердца
уверенный стук,
только горы стоят, только горы стоят в твоих белых глазах,
это страшно узнать — никогда не вернешься на Юг.

Прощайте, горы. Что я прожил, что помню, что знаю на час,
никогда не узнаю, но если приходит, приходит пора уходить,
никогда не забуду, и вы не забудьте, что сверху я видел вас,
а теперь здесь другой, я уже не вернусь, постарайтесь
простить.

Горы, горы мои. Навсегда белый свет, белый снег, белый свет
до последнего часа в душе, в хоре мертвых имен,
вечно белых вершин над долинами минувших лет,
словно тысячи рек на свиданьи у вечных времен.

Словно тысячи рек умолкают на миг, умолкают на миг,
на мгновение вдруг,
я запомню себя там, в горах, посреди ослепительных стен,
там, внизу, человек, это я говорю в моих письмах на Юг:
добрый день, моя смерть, добрый день, добрый день, добрый
день.

2.

*
* *
*

Э. Т.

Люби проездом родину друзей.
На станциях батоны покупая,
о прожитом бездумно пожалей,
к вагонному окошку прилипая.

Все тот же вальс в провинции звучит,
летит, летит в белесые колонны,
весна друзей по-прежнему молчит,
блондинкам улыбаясь благосклонно.

Отходят поезда от городов,
приходит моментальное забвенье,
десятилетия искренних трудов,
но вечного, увы, неоткровенья.

Да что там жизнь! Под перестук колес
взбредет на ум печальная догадка,
что повый недоверчивый вопрос
когда-нибудь их вызовет обратно.

Так, поезжай. Куда? Куда-нибудь,
скажи себе: с несчастьями дружу я.
Гляди в окно и о себе забудь.
Жалей проездом родину чужую.

3.

*

* * *

.

.

4.

*

* * *

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь.
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь слабого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя, одна твоя вина.
И хорошо. Спасибо. Слава богу.

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.

5. Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона

Металлический зов в полночь
слетает с Петропавловского собора,
из распахнутых окон в переулках
мелодически звякают деревянные часы комнат,
в радиоприемниках звучат гимны.

Все стихает.

Ровный шепот девушек в подворотнях
стихает,

и любовники в июле спокойны.

Изредка проезжает машина.

Ты стоишь на мосту и слышишь,
как стихает, и меркнет, и гаснет
целый город.

Ночь приносит

из теплого темно-синего мрака

желтые квадратики окон

и мерцанье канала.

Играй, играй, Диззи Гиллеспи,
Джерри Маллиган и Ширинг, Ширинг,
в белых платьях, все вы там в белых платьях
и в белых рубахах
на сорок второй и семьдесят второй улице,
там, за темным океаном, среди деревьев,
над которыми с зажженными бортовыми огнями
летят самолеты,
за океаном.

Хороший стиль, хороший стиль

в этот вечер,

боже мой, боже мой, боже мой, боже мой,

что там вытворяет Джерри,
баритон и скука и так одиноко,
боже мой, боже мой, боже мой, боже мой,
звук выписывает эллипсонд так далеко за океаном,
и если теперь черный Гарнер
колотит руками по черно-белому ряду,
все становится понятным.

Эррол!

боже мой, боже мой, боже мой, боже мой,
какой ударник у старого Монка
и так далеко,
за океаном,
боже мой, боже мой, боже мой,
это какая-то охота за любовью,
все расхватано, но идет охота,
боже мой, боже мой,
это какая-то погоня за нами, погоня за нами,
боже мой,
кто это болтает со смертью, выходя на улицу,
сегодня утром.
Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой,
ты бежишь по улице, так пустынно, никакого шума,
только в подворотнях, в подъездах, на перекрестках,
в парадных,
в подворотнях говорят друг с другом,
и на запертых фасадах прочитанные газеты оскаливают
заголовки.
Все любовники в июле так спокойны, спокойны, спокойны.

6. Романс

Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
недалеко, за цинковой рекой,
ах, улыбнись в оставленных домах,
я различу на улицах твой взмах.

Недалеко, за цинковой рекой,
где стекла дребезжат наперебой
и в полдень нагреваются мосты,
тебе уже не покупать цветы.

Ах, улыбнись в оставленных домах,
где ты живешь среди вороха бумаг
и запаха увянувших цветов,
мне не найти оставленных следов.

Я различу на улицах твой взмах,
как хорошо в оставленных домах
любить других и находить других,
из комнат, бесконечно дорогих,
любовью умолкающей дыша,
навек уйти, куда-нибудь спеша.

Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
когда на миг все люди замолчат,
недалеко за цинковой рекой
твои шаги на целый мир звучат.

Останься на нагревшемся мосту,
роняй цветы в ночную пустоту,
когда река, блестя из темноты,
 всю ночь несет в Голландию цветы.

7. Современная песня

Человек приходит к развалинам снова и снова,
он был здесь позавчера и вчера
и появится завтра,
его привлекают развалины,
Он говорит:

Постепенно,
постепенно научишься многим вещам, очень
многим,
научишься выбирать из груды битого щебня
свои будильники и обгоревшие корешки
альбомов,
привыкнешь
приходить сюда ежедневно,
привыкнешь, что развалины существуют,
с этой мыслью сживешься.

Начинает порою казаться — так и надо,
начинает порою казаться, что всему научился,
и теперь ты легко говоришь
на улице с незнакомым ребенком
и все объясняешь. Так и надо.

Человек приходит к развалинам снова,
всякий раз, когда снова он хочет любить,
когда снова заводит будильник.

Нам, людям нормальным, и в голову не приходит, как это
можно вернуться домой и найти вместо дома — развалины.
Нет, мы не знаем, как это можно потерять и ноги, и руки
под поездом или трамваем — все это доходит до нас — слава
богу — в виде горестных слухов, между тем, это и есть необ-
ходимый процент несчастий, это — роза несчастий.

Человек приходит к развалинам снова,
долго тычется палкой среди мокрых обоев и
щебня,
нагибается, поднимает и смотрит.

Кто-то строит дома,
кто-то вечно их разрушает, кто-то снова их строит,
изобилие городов наполняет нас всех оптимизмом.
Человек на развалинах поднял и смотрит,
эти люди обычно не плачут.
Даже сидя в гостях у — слава богу — целых знакомых,
неодобрительно смотря на столбики фотоальбомов.

«В наши дни, — так они говорят, — не стоит заводить
фотографий».

Можно много построить и столько же можно разрушить
и снова построить.

Ничего нет страшней, чем развалины в сердце,
ничего нет страшнее развалин,
на которые падает дождь и мимо которых
проносятся новые автомобили,
по которым, как призраки, бродят
люди с разбитым сердцем и дети в беретах,
ничего нет страшнее развалин,

которые перестают казаться метафорой
и становятся тем, чем они были когда-то:
домами.

8. Июльское интермеццо

Девушки, которых мы обнимали,
с которыми мы спали,
приятели, с которыми мы пили,
родственники, которые нас кормили и все покупали,
братья и сестры, которых мы так любили,

знакомые, случайные соседи этажом выше,
наши однокашники, наши учителя, — да, все вместе,
— почему я их больше не вижу,
куда они все исчезли.

Приближается осень, какая по счету, приближается осень,
новая осень незнакомо шумит в листьях,
вот опять предо мной проезжают, проходят ночью
в белом свете дня красные, неизвестные мне лица.

Неужели все они мертвы, неужели это правда,
каждый, кто любил меня, обнимал, так смеялся,
неужели я не услышу издали крик брата,
неужели они ушли,
а я остался.

Здесь, один, между старых и новых улиц,
прохожу один, никого не встречаю больше,
мне нельзя входить, чистеньких лестниц узость
и чужие квартиры звонят над моей болью.

Ну, звени, звени, новая жизнь, над моим плачем,
к новым, каким по счету, любовям, привыкать к потерям,
к незнакомым лицам, к чужому шуму и к новым платьям,
ну, звени, звени, закрывай предо мной
двери.

Ну, шуми надо мной своим новым широким флагом,
тархти подо мной, отражай! мою тень
своим камнем твердым,
светлым камнем своим маячь из мрака,
оставляя меня, оставляя меня
моим мертвым.

9. Августовские любовники

Августовские любовники,
августовские любовники проходят с цветами,
невидимые зовы парадных их влекут,
августовские любовники в красных рубашках с полуоткрытыми
ртами
мелькают на перекрестках, исчезают в переулках,
по площадям бегут.

Августовские любовники
в вечернем воздухе чертят
красно-белые линии рубашек, своих цветов,
распахнутые окна между черных парадных светят,
и они всё идут, всё бегут на какой-то зов.

Вот и вечер жизни, вот и вечер идет сквозь город,
вот он красит деревья, зажигает лампу, лакирует авто,
в узеньких переулках торопливо звонят соборы,
возвращайся назад, выходи на балкон, накинь пальто.

Видишь, августовские любовники пробегают внизу с цветами,
голубые струи реклам бесконечно стекают с крыш,
вот ты смотришь вниз, никогда не меняйся местами,
никогда ни с кем, это ты себе говоришь.

Вот цветы и цветы, и квартиры с новой любовью,
с юной плотью входящей, всходящей на новый круг,
отдавая себя с новым криком и новой кровью,
отдавая себя, выпуская цветы из рук.

Новый вечер шумит, никто не вернется, над новой жизнью,
что никто не пройдет под балконом твоим к тебе,
и не станет к тебе, и не станет. не станет ближе,
чем к самим себе, чем к своим цветам, чем к самим себе.

10. Проплывают облака

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса,
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно,
в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.
Слышишь ли ты голоса, видишь ли волосы с красными
гребнями,
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?

«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» —
это дети поют и поют, черные ветви шумят,
голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.

Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.
«Проплывают облака...» — это дети поют ночью, ночью,
от травы до вершин все — биение, все — дрожание голосов.

Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит,
привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...
«Проплывают облака...» — это дети поют обо всем.

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
блестящие нити дождя, переплетаются звенящие голоса,
возле узких вершин, в новых сумерках, на мгновение
видишь сызнава, видишь сызнава угасающие небеса?

Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей,
где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль осенних
оград,
все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть ребенком
ночью,
и смотреть все вверх, только плакать и петь, и не знать утрат.

Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль деревьев
неясных,
в новых сумерках пенье, только плакать и петь, только листья
сложить.

Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь, только жить.

1961

Письмо к А. Д.

.....

Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова,
все равно я пишу, но как странно писать тебе снова,
но как странно опять совершать повторенье прощанья,
добрый вечер. Как странно вторгаться в молчанье.

Все равно ты не слышишь, как опять здесь весна нарастает,
как чугунная птица с тех же самых деревьев слетает,
как свистят фонари, где в ночи ты одна проходила,
распускается день — там, где ты в одиночку любила.

Я опять прохожу в том же светлом раю, где ты долго болела,
где в шестом этаже в этой бедной любви одиноко смелела,
там, где вновь на мосту собираются красной гурьбою
те трамваи, что всю твою жизнь торопливо неслись за тобою.

Боже мой! Все равно, все равно за тобой не угнаться,
все равно никогда, все равно никогда не подняться
над отчизной твоей, но дано увидеть на прощанье,
над отчизной своей ты летишь в самолете молчанья.

Добрый путь, добрый путь, возвращайся с деньгами и славой.
Добрый путь, добрый путь, о, как ты далека, боже правый!
О, куда ты спешишь, по бескрайней земле пробегая,
как здесь нету тебя! Ты как будто мертва, дорогая.

В этой новой стране непорочный асфальт под ногою,
твои руки и грудь — ты становишься смело другою,
в этой новой стране, там, где ты обнимаешь и дышишь,
говоришь в микрофон, но на свете кого-то не слышишь.

Сохраняю твой лик, устремленный на миг в безнадежность,
— безразличный тебе — за твою уходящую нежность,
за твою одинокость, за слепую твою однодумность,
за смятенье твое, за твою молчаливую юность.

Все, что ты обгоняешь, отстраняешь, пронесишься мимо,
все, что было и есть, все, что будет тобою гонимо —
ночью, днем ли, зимою ли, летом, весною
и в осенних полях, — это все остается со мною.

Принимаю твой дар, твой безвольный, бездумный подарок,
грех отмытый, чтоб жизнь распахнулась, как тысяча арок,
а быть может, сигнал — дружелюбный — о прожитой жизни,
чтоб не сбиться с пути на твоей неведимой отчизне.

До свиданья! Прощай! Там не ты — это кто-то другая,
до свиданья, прощай! До свиданья, моя дорогая.
Отлетай, отплывай самолетом молчанья — в пространстве
мгновенья,
кораблем забыванья — в широкое море забвенья.

1962, январь, 27-е

* *
*

Прошел сквозь монастырский сад,
в пролом просунулся, согнулся,
к воде спустился и назад
нетерпеливо оглянулся.

С пяти блестящих куполов
сквозь облетевшие деревья
был виден травяной покров
и взмах коричневого гребня
крыш монастырских, и кольцом —
заводов хор многоголосый,
и там, внизу, к стене лицом,
маячил гость рыжеволосый.

Оставив всякий путь назад,
оставшимся путям — на зависть,
спиной к воде, смотрел в тот сад,
молчал, на купола уставясь.
Настолько зная в этом толк,
чтоб возвращеньем не пленяться,
подумал все-таки, что долг
на эту высоту подняться
и все увидеть: от начал
до берега, где волны бьются.
Но если что и различал,
то значило: «нельзя вернуться».
И все покрылось пеленой
и погрузилось в сумрак полный.

И то, что было за спиной,
он пред собой увидел — волны.

1962, апрель, 21—25

Стансы городу

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидеть
мои слезы и жалкое горе.

Пусть меня отпоет
хор воды и небес, и гранит
пусть обнимет меня,
пусть поглотит,
сей шаг вспоминая,
пусть меня отпоет,
пусть меня, беглеца, осенит
белой ночью твоя
неподвижная слава земная.

Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
посредине реки,
исступленно борясь с темнотою,
и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотой твоей
и с посмертной моей правотою.

1962, июнь, 2-е

* *
*

М. Б.

Ни тоски, ни любви, ни печали,
ни тревоги, ни боли в груди,
будто целая жизнь за плечами
и всего полчаса впереди.

Оглянись — и увидишь наверно:
в переулке такси тарахтят,
за церковной оградой деревья
над ребенком больным шелестят,

из какой-то неведомой дали
засвистит молодой постовой,
и бессмысленный грохот рояля
поплывет над твоей головой.

Не поймешь, но почувствуешь сразу:
хорошо бы пяти куполам
и пустому теперь диабазу
завещать свою жизнь пополам.

4 июня 1962

Диалог

«Там он лежит, на склоне.
Ветер повсюду снует.
В каждой дубовой кроне
сотня ворон поет».
«Где он лежит, не слышу.
Листва шуршит на ветру.
Что ты сказал про крышу,
слов я не разберу».

«В кронах, сказал я, в кронах
темные птицы кричат.
Слетают с небесных тронов
сотни его внучат».
«Но разве он был вороной:
ветер смеется во тьму.
Что ты сказал о кронах,
слов твоих не пойму».

«Прятал свои усилья
он в темноте ночной.
Все, что он сделал: крылья
птице черной одной».
«Ветер мешает мне, ветер.
Уйми его, боже, уйми.
Что же он делал на свете,
если он был с людьми».

«Листьев задумчивый лепет,
а он лежит не дыша.
Видишь облако в небе,
это его душа».

«Теперь я тебя понимаю:
ушел, улетел он в ночь.
Теперь он лежит, обнимая
корни дубовых рощ».

«Крышу я делаю, крышу
из густой дубовой листвы.
Лежит он озера тише,
ниже всякой травы.
Его я венчаю мглюю.
Корона ему под стать».
«Как ему там, под землю».
«Так, что уже не встать.
Так он лежит с короной,
там я его забыл».
«Неужто он был вороной».
«Птицей, птицей он был».

6 июня 1962

Инструкция опечаленным

*«Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным».*

А. Ахматова

Я ждал автобус в городе Иркутске,
пил воду, замурованную в кране,
глотал позеленевшие закуски
в ночи в аэродромном ресторане.
Я пробуждался от авиагрома
и танцевал под гул радиовальса,
потом катил я по аэродрому
и от земли печально отрывался.
И вот летел над облаком атласным,
себя, как прежде, чувствуя бездомным,
твердил, вися над бездною прекрасной:
все дело в одиночестве бездомном.

Не следует настаивать на жизни
страдальческой из горького упрямства.
Чужбина так же сродственна отчизне,
как тупику соседствует пространство.

6 июня 1962

* *
*

1.

Под вечер он видит, застывши в дверях:
два всадника скачут в окрестных полях,
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,
и долго не могут друг друга догнать.
То бросив поводья, поникнув, устав,
то снова в седле возбужденно привстав,
и быстро по светлому склону холма,
то в рощу опять, где сгущается тьма.

Два всадника скачут в вечерней грязи,
не только от дома, от сердца вблизи,
друг друга они окликают, зовут,
небесные рати за рощу плывут.
И так никогда им на свете вдвоем,
сквозь рощу и гать, сквозь пустой водоем,
не ехать в виду станционных постов,
как будто меж ними не сотня кустов!

Вечерние призраки! — где их следы,
не видеть двойного им всплеска воды,
их вновь возвращает к себе тишина,
он знает из окриков их имена.
По сельской дороге в холодной пыли,
под черными соснами, в комьях земли,
два всадника скачут над бледной рекой,
два всадника скачут: тоска и покой.

2.

Пустая дорога под соснами спит,
смолкает за стеклами топот копыт,
я знаю обоих, я знаю давно:
так сердце стучит, как им мчаться дано.

Так сердце стучит: за ударом удар,
с полей наплывает холодный угар,
и волны сверкают в прибрежных кустах,
и громко играет любимый состав.

Растаял их топот, а сердце стучит!
Нисходит на шепот, но все ж не молчит,
и, значит, они продолжают скакать!
Способны умолкнуть, не могут — смолкать.

Два всадника мчатся в полночную мглу,
один за другим, пригибаясь к седлу,
по рощам и рекам, по черным лесам,
туда, где удастся им взмыть к небесам.

3.

Июльской ночью в поселке темно.
Летит мошкара в золотое окно.
Горячий приемник звенит на полу,
и смелый Гиллеспи подходит к столу.

От черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы,
от лирики друга до счастья врага
на свете прекрасном всего два шага.

Я в жизни своей не люблю, не боюсь,
я с веком своим ни за что не борюсь.
Пусть что угодно вокруг говорят,
меня беспокоят, его веселят.

У каждой околицы этой страны,
на каждой ступеньке, у каждой стены,
в недалеое время, брюнет или блондин,
появится дух мой, в двух лицах един.

И просто за смертью, на первых порах,
хоть бы вот так, как развеянный прах,
потомка застав над бумагой с утра,
хоть пылью коснусь дорогого пера.

4.

Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в тумане речном,
то дальше, то ближе, за юной тоской
несется во мраке прекрасный покой.

Два всадника скачут, их тени парят.
Над сельской дорогой все звезды горят.
Копыта стучат по заснувшей земле.
Мужчина и женщина едут во мгле.

7—9 июня 1962

* *
*

Был черный небосвод светлей тех ног
и слиться с темнотою он не мог.

В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.

Не помню я чернее ничего.
Как уголь, были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди,
как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Но все-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.
Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.

Как будто он был чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал?
Зачем во тьме он сучьями шуршал?
Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе средь нас.

1962, июнь, 28-е

* *
*

Затем, чтоб пустым разговорцем
развеять тоску и беду,
я странную жизнь стихотворца
прекрасно на свете веду.
Затем, чтоб за криком прощальным
лицо возникало в окне,
чтобы думать с улыбкой печальной,
что выпадет, может быть, мне
как в самом начале земного
движенья — с мечтой о творце —
такое же ясное слово
поставить в недалёком конце.

28 июня 1962

* *
*

З. К.

Пограничной водой наливается куст,
и трава прикордонная жжется.
И боится солдат святотатственных чувств,
и поэт этих чувств бережется.

Над холодной водой автоматчик притих,
и душа не кричит во весь голос.
Лишь во славу бессилия этих двоих
завывает осенняя голость.

Да в тени междуцарствий елозят кусты
и в соседнюю рвутся державу.
И с полей мазовецких журавли темноты
непрерывно летят на Варшаву.

1962, октябрь, 10-е

* *
*

Эстонские деревья озабоченно
удерживают тусклые листья.
Эстонскою латынью у обочины
надписаны могильные кресты.
И облако седое, кропотливое
клубится и охватывает лес.
И чувство возникает сиротливое
к минувшему и будущему здесь.

Былое упоительней грядущего.
И прожитым уверенней дышу.
Ни облика, ни голоса петушьего
теперь уже в себе не нахожу.
И встреча со знакомым впечатлением,
когда я оборачиваюсь вспять,
так радостна, что вместе с удивлением
теряется желанье удивлять.
Ни ревности к грядущему, ни робости.
Лишь новым соответствием души —
рожок междугороднего автобуса,
рыдающий в заоблачной тиши.

1 ноября 1962
Пирита

Стансы

Е. В., А. Д.

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
под затылком снежок,
и услышу я голос:
— до свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой,
— словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

1962

От окраины к центру

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

Преодо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.

В ярко-красном кашне
и в плаще в подворотнях, в парадных
ты стоишь на виду
на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу
недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна:
рядом новый закат
гонит в даль огневые полотна.
До чего ты бедна. Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты прекрасна.

По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редколесья,
вылетает такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:
это наша зима все не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,

и, полны темноты,
и, полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,
оттого, что, подобно растенью,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
оттого, что мы все потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героик,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте

по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всеильный,
над отчизной горит,
разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
шелестят фонари — по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять — только это возможно.

То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это — вечная жизнь:
поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье былого,
пароходов огни
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
плеск холодной воды возле бровок твоих вечношироких.

Поздравляю себя
с этой ранней находкой, с тобою,
поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать,
я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого что ни с кем не расстался.
Слава богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
столько дам за стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь —
но уже не вернусь — словно дом запираю
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая

1962

* *
*

Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам,
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме к треугольным
домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну,
освещенный луной и ее замечая одну.
Гулкий топот копыт по застывшим холмам — это не с чем
сравнить,
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить,
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей,
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей.

Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь впотьмах,
возникая вдали, освещенный луной на бескрайних холмах,
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьет по
лицу,
говоря сам с собой, растворяется в черном лесу.
Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов — не отыщется
след,
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет,
все равно ты его никогда, ни за что не сумеешь догнать,
кто там скачет в холмах, я хочу это знать, я хочу это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,
одиноким лицом обернувшись к лесному царю,
обращаюсь к природе от лица треугольных домов,
кто там скачет один, освещенный царицей холмов.
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,
из распахнутых окон бьет прекрасный рояль, разливается
свет,

кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес,
по застывшей траве, мимо черных кустов. Приближается лес.

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд.
Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.
Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг небылиц,
ибо сотня холмов — поразительный круп кобылиц,
на которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ,
засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся во тьму,
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.
Все равно — возвращенье! Все равно даже в ритме баллад
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,
даже если творец на иконах своих не живет и не спит,
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Ты, мой лес и вода, кто объедет, а кто, как сквозняк,
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,
кто лежит в темноте, на спине, в ледящем ручье.
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,
потому что не жизнь, а другая какая-то боль
приникает к тебе, и уже не слышать, как приходит весна,
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник

сна.

Сонет

Прошел январь за стенами тюрьмы,
и я услышал пенье заключенных,
звучащее в кирпичном сонме камер:
«Один из наших братьев на свободе».

Еще ты слышишь пенье заключенных
и топот надзирателей безгласных,
еще ты сам поешь, поешь безмолвно:
«Прощай, январь».

Лицом поверотясь к окну,
еще ты пьешь глотками теплый воздух,
а я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос по коридору
в ту дальнюю страну, где больше нет
ни января, ни февраля, ни марта.

1962

* *
*

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидел, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижности сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

2-11-62

* *
*

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освещает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит, выдает
девицу за лесничего и, в шутку,
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.

Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.

1964

*
* *
*

Дни бегут надо мной,
словно тучи над лесом,
у него за спиной
сбиваясь стадом белесым.

И, застыв над ручьем,
без мычанья и звона,
налегают плечом
на ограду загона.

Горизонт на бугре
не проронит о бегстве ни слова.
И порой на заре
ни клочка от былого.

Предъявляя транзит,
только вечер вчерашний
торопливо скользит
над скворешней, над пашней.

1964

Орфей и Артемида

Наступила зима. Песнопевец,
не сошедший с ума, не умолкший,
видит след на тропинке волчий
и, как дятел-краснодеревец,
забирается на сосну,
чтоб расширить свой кругозор,
разглядев получше узор,
оттеняющий белизну.

Россыпь следов снега
на холмах испещрила, будто
в постели красавицы утро
рассыпало жемчуга.
Среди полей и дорог
перепутались нити.
Не по плечу Артемиде
их собрать в бугорок.

В скобки берет зима
жизнь. Ветвей бахрома
взгляд за собой влечет.
Новый Орфей за счет
притаившихся тварей,
обрывая большой календарь,
сокращая словарь,
пополняет свой бестиарий.

1964

1 января 1965 года

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу пред тем, как лечь,
поскольку больше дней, чем свеч,
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

И молча глядя в потолок,
поскольку явно пуст чулок,
поймешь, что скупость — лишь залог
того, что слишком стар.
Что поздно верить чудесам.
И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам —
чистосердечный дар.

1965

Вечером

Снег сено запорошил
сквозь щели под потолком.
Я сено разворошил
и встретился с мотыльком.
Мотылек, мотылек
От смерти себя сберег,
забравшись на сеновал.
Выжил, зазимовал.

Выбрался и глядит,
как «летучая мышь» чадит,
как ярко освещена
бревенчатая стена.
Приблизив его к лицу,
я вижу его пыльцу
отчетливей, чем огонь,
чем собственную ладонь.

Среди вечерней мглы
мы тут совсем одни.
И пальцы мои теплы,
как июньские дни.

1965

Пророчество

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
от континента, в небольшом кругу,
окруженном самодельной лампой.
Мы будем в карты воевать с тобой
и слушать, как безумствует прибор,
покашливать, вздыхая неприметно,
при слишком сильных дуновеньях ветра.

Я буду стар, а ты — ты молода.
Но выйдет так, как учат пионеры,
что счет пойдет на дни — не на года, —
оставшиеся нам до новой эры.
В Голландии своей, наоборот,
мы разведем с тобою огород
и будем устриц жарить за порогом
и солнечным питаться осьминогом.

Пускай шумит над огурцами дождь,
мы загорим с тобой по-эскимосски,
и с нежностью ты пальцем проведешь
по девственной, нетронутой полоске.
Я на ключицу в зеркало взгляну
и обнаружу за спиной волну
и старый гейгер в оловянной рамке
на выцветшей и пропотевшей лямке.

Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной,

чтоб, к сморщенному личику привит,
не позабыт был русский алфавит,
чей первый звук от выдоха продлится
и, стало быть, в грядущем утвердится.

Мы будем в карты воевать, и вот
нас вместе с козырями отнесет
от берега извилистость отлива.
И наш ребенок будет молчаливо
смотреть, не понимая ничего,
как мотылек колотится о лампу,
когда настанет время для него
обратно перебраться через дамбу.

1965

* *
*

Как тюремный засов
разрешается звоном от бремени,
от калмыцких усов
над улыбкой прошедшего времени,
так в ночной темноте,
обнажая надежды беззубие,
по версте, по версте
отступает любовь от безумия.

И разинутый рот
до ушей раздвигая беспамятством,
как садок для щедрот
временным и пространственным пьяницам,
что в горящем доме
ухитряясь дрожать над заплатами
и уставясь во тьму,
заедают версту циферблатами, —
боль разлуки с тобой
вытесняет действительность равную
не печальной судьбой,
а простой Архимедовой правдою.

Через гордый язык,
хоронясь от законности с тщанием,
от сердечных музык
пробираются память с молчанием
в мой последний пенат
— то ль слезинка, то ль веточка вербная —
и тебе не понять,
да и мне не расслышать, наверное:

то ли вправду звенит тишина,
как на Стиксе уключина,
то ли песня навзрыд сложена
и посмертно заучена.

1964

Стихи на смерть Т. С. Элиота

I

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Наследство дней не упрекнет в банкротстве
семейство Муз. При всем своем сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.

Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всем великолепном блеске.
Она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накапливать сердца.

На пустырях уже пылали елки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,
за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны — торопливо
от своего ушел он торжества.

Уже не Бог, а только время, Время
зовет его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы
легко возносит и, простившись, бьется
о край земли. В избытке сил смеется.
И январем его залив вдается
в ту сушу дней, где остаемся мы.

II

Читающие в лицах, маги, где вы?
Сюда! И поддержите ореол:
две скорбные фигуры смотрят в пол.
Они поют. Как схожи их напевы!
Две девы — и нельзя сказать, что девы:
не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота. Но прическа — Евы...

Склоняя лица сонные свои,
Америка, где он родился, и,
и Англия, где умер он, унылы,
стоят по сторонам его могилы.
И туч плывут по небу корабли.
Но каждая могила — край земли.

III

Аполлон, сними венок.
Положи его у ног
Элиота, как предел
для бессмертья в мире тел.

Шум шагов и лиры звук
будет помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.

Будет помнить лес и дол.
Будет помнить сам Эол.
Будет помнить каждый знак,
как хотел Гораций Флакк.

Томас Стернс, не бойся коз!
Безопасен сенокос.
Память — если не гранит —
одуванчик сохранит.

Так любовь уходит прочь.
Навсегда. В чужую ночь.
Прерывая крик, слова.
Став незримой, хоть жива.

Ты ушел к другим. Но мы
называем царством тьмы
этот край, который скрыт.
Это ревность так велит!

Будет помнить лес и луг.
Будет помнить все вокруг.
Словно тело — мир не пуст! —
помнит ласку рук и уст.

12. I 1965

Одной поэтессе

Я заражен нормальным классицизмом.
А вы, мой друг, заражены сарказмом.
Конечно, просто сделаться капризным,
по ведомству акцизному служа.
К тому ж, вы звали этот век железным.
Но я не думал, говоря о разном,
что, зараженный классицизмом трезвым,
я сам гулял по острию ножа.

Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато начало многолетней тяжбе.
Теперь и вам продвинуться по службе
мешает Бахус, но никто другой.
Я оставляю эту ниву тем же,
каким взошел я на нее. Но так же
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.
И я для вас не шевельну рукой.

Оставим счеты. Я давно в неволе.
Картофель ем и сплю на сеновале.
Могу прибавить, что теперь на воре
уже не шапка — лысина горит.
Я, эпигон и попугай. Не вы ли
жизнь попугая от себя скрывали.
Когда мне вышли от закона «вилы»,
я вашим прорицаньем был согрет.

Служенье Муз чего-то там не терпит.
Зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет
и несомненна близость Божества.
Один певец подготавливает рапорт.
Другой рождает приглушенный ропот.
А третий знает, что он сам лишь рупор.
И он срывает все цветы родства.

И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проницая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
И вот, столь долго состоя при Музах,
я отдал предпочтенье классицизму.
Хоть я и мог, как мистик в Сиракузах,
взирать на мир из глубины ведра.

Оставим счеты. Вероятно, слабость.
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,
в своей глуши благословляю разность:
жужжанье ослепительной осы
в простой ромашке вызывает робость.
Я сознаю, что предо мною пропасть.
И крутится сознание, как лопасть
вокруг своей негнушейся оси.

Сапожник строит сапоги. Пирожник
сооружает крендель. Чернокнижник
листает толстый фолиант. А грешник
усугубляет, что ни день, грехи.
Влекут дельфины по волнам треножник,
и Аполлон обозревает ближних —
в конечном счете, безгранично внешних.
Шумят леса, и небеса глухи.

Уж скоро осень. Школьные тетради
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде
вас, по утрам укладывают пряжи
в большой пучок, готовясь к холодам.
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
наш обоюдный интерес к природе.
Всегда в ее дикорастущем виде.
И удивляюсь, и грущу, мадам.

1965

Остановка в пустыне

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это — храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали.
Была весна, и я как раз тогда
ходил в одно татарское семейство,
неподалеку жившее. Смотрел
в окно и видел Греческую церковь.
Все началось с татарских разговоров;
а после в разговор вмешались звуки,
сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре — заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою — разрушитель.

К тому же, экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и, до известной степени, подобным себе. А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом — туда согнали самосвалы, бульдозеры... И как-то в поздний час сидел я на развалинах абсиды. В провалах алтаря зияла ночь. И я — сквозь эти дыры в алтаре — смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. И то, чего вообще не встретишь в церкви, теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее — после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так, по старой памяти, собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им, должно быть, грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть, земля хранит тот запах: асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом! Для них тут садик, говорят вам — садик. А то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично. Вот это и зовут: «собачья верность». И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету. Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще — вне Греции — их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханное поле заросло.
«Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься».
Они свою соху не сохранили.
Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

1 сентября

День назывался «первым сентября».
Детишки шли, поскольку — осень, в школу.
А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,
как ногтем — шоколадную фольгу,
разгладили улан.

Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.

Снова на ветру
шумят березы и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с громыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.

1967

Открытка из города К.

Томасу Венцлова

Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещенное в пространство,
пространством вытесняется.

Вода

дробит в зеркале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь
пророчествам реки он больше внимлет,
чем в самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал.

Кто-то

среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То — ветер,
как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.

1967

*
* *
*

Отказом от скорбного перечня — жест
большой широты в крохоборе! —
сжимая пространство до образа мест,
где я пресмыкался от боли,
как спившийся кравец в предсмертном бреду,
заплатой на барское платье
с изнанки твоих горизонтов кладу
на подвижность эту заклатье!

Прогулки, предместья, задворки — любой
твой адрес — пустырь, палисадник, —
что избрано будет для жизни тобой,
давно, как трагедии задник,
настолько я обжил, что где бы любви
своей ни воздвигла ты ложе,
все будет не краше, чем храм на крови,
и общим бесплодием схоже.

Прими ж мой процент, разменяв чистоган
разлуки на брачных голубок!
За лучшие дни поднимаю стакан,
как пьет инвалид за обрубок.
На разницу в жизни свернув костыли,
будь с ней до конца солидарной:
не мягче на сплетне себе постели,
чем мне — на листве календарной.

И мертвым я буду существенней для
тебя, чем холмы и озера:
не большую правду скрывает земля,
чем та, что открыта для взора!

В тылу твоём каждый растоптанный злак
воспрянет, как петел лядащий.

И будут круги расширяться, как зрак —
вдогонку тебе, уходящей.

Глушеною рыбой всплывая со дна,
кочуя, как призрак — по требам,
как тело, истлевшее прежде рядна,
так тень моя, взапуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчиться будет на каждой стене
в том доме, чья крыша — Россия.

Июнь 1967

Фонтан

Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика,
никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.

Пересохли уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,
хоронящийся в кущах, в конце хвоста,
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;
из куста
сонм теней

выбегает к фонтану, как львы из чаши.
Окружают сородича, спящего в центре чаши,
перепрыгнув барьер, начинают носиться в ней,
лизут морду и лапы вождя своего. И, чем чаще,
тем темней

грозный облик. И вот
наконец он сливается с ними и резко
оживает и прыгает вниз. И все общество резво
убегает во тьму. Небосвод
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво
назовет

похищение вождя —
так как первые капли блестят на скамейке —
назовет похищение вождя приближеньем дождя.

Дождь спускает на землю косые линейки,
строя в воздухе сеть или клетку для львиной семейки
без узла и гвоздя.

Теплый
дождь
моросит.

Но, как льву, им гортань
не остудишь.
Ты не будешь любим и забыт не будешь.
И тебя в поздний час из земли воскресит,
если чудищем был ты, компания чудищ.
Разгласит
твой побег
дождь и снег.
И, не склонный к простуде,
все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди
и голубки — в ковчег.

1967

Anno Domini

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В прогулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
... Веселье в зале умеряет пыл,

но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!
Зачем куда-то рваться из дворца —

отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках...
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но, может быть, находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатие — сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит, и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натываясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

Январь 1968 г., Паланга

К Ликомеду, на Скирос

Я покидаю город, как Тезей —
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.

Вот она, победа!

Апофеоз подвижничества. Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навек уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудища бессмертны?
И, дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных,
Бог отнимает всякую награду,
тайком от глаз ликующей толпы,
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.
И в этом пункте планы Божества

и наше ощущение униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться...
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет,
 с центральных площадей
и башен.
 А для странника — с окраин.

1967

Элегия

Подруга милая, кабак все тот же,
все та же дрянь красуется на стенах,
все те же цены. Лучше ли вино?
Не думаю; не лучше и не хуже.
Прогресса нет, и хорошо, что нет.

Пилот почтовой линии, один,
как падший ангел, глушит водку. Скрипки
еще по старой памяти волнуют
мое воображение. В окне
маячат белые, как девство, крыши,
и колокол гудит. Уже темно.

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе — глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

1968

Сонет

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.

... В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не умеет заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.

1967

Подсвечник

Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладанья таковы.
Сатир — не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

Фантазия подчеркивает явь.
А было так: он перебрался вплавь
через поток, в чьем зеркале давно
шестью ветвями дерево шумело.
Он обнял ствол. Но ствол принадлежал
земле. А за спиной уничтожал
следы поток. Просвечивало дно.
И где-то щебетала Филомела.

Еще один продлись все это миг,
сатир бы одиночество постиг,
ручьям свою ненужность и земле;
но в то мгновенье мысль его ослабла.
Стемнело. Но из каждого угла
«не умер» повторяли зеркала.
Подсвечник воцарился на столе,
пленяя завершенностью ансамбля.

Нас ждет не смерть, а новая среда.
От фотографий бронзовых вреда
сатиру нет. Шагнув за Рубикон,
он затвердел от пейс до гениталий.
Наверно, тем искусство и берет,

что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.

Зажжем же свечи. Полно говорить,
что нужно чей-то сумрак озарить.
Никто из нас другим не властелин,
хотя поползновения зловещи.
Не мне тебя, красавица, обнять.
И не тебе в слезах меня пенять;
поскольку заливаает стеарин
не мысли о вещах, но сами вещи.

1968

Эней и Дидона

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море!

Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли, точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.

А ее любовь
была лишь рыбой — может, и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его, — но он,
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.

Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожащем между пламенем и дымом,
беззвучно рассыпался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

1969

Семь лет спустя

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля — дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадет, то думалось — навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз
семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощею берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари, на старом
диванчике, что — прежде чем возник —
был треугольник перпендикуляром,

восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

Зимним вечером в Ялте

Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки,
когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит;
я жмурюсь — и тогда он произносит,
глотаю дым при этом, «виноват».

Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состоянии удержаться снег
на лезвиях и остриях агавы.
Пустуют рестораны. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» «Налейте».

Итак — улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой заполненной фелюки.
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо.
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

Январь 1969

Конец прекрасной эпохи

Потому что искусство поэзии требует слов,
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, —
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпитафия — победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилия.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит прејскурантом. Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других оно ищет в сырых овощах. Кочет внемет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут — тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей, то ль пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека. То ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу — да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом, то ли дернуть отсюда по морю новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда: как и челн на воде, не оставит на рельсах следа колеса паровоза...

Что же пишут в газетах в разделе «из зала суда»? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены; но не спит. Ибо брезговать кумполом сны продырявленным вправо.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, неспособные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чужь дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене. И не князя будить — динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера. Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора да зеленого лавра.

декабрь 1969

*
* *
*

Л. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что зачем нам рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, как школа,
как способность торчать, избежав укола.
 Я сижу у окна. За окном осина.
 Я любил немногих. Однако сильно.

Я считал, что лес — только часть полена.
Что зачем вся дева, раз есть колено.
Что, устав от поднятой веком пыли,
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.
 Я сижу у окна. Я помыл посуду.
 Я был счастлив здесь и уже не буду.

Я писал, что в лампочке — ужас пола.
Что любовь, как акт, лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
вещь обретает не ноль, но Хронос.
 Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
 Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.
И что семя, упавши в дурную почву,
не дает побега: что луг с поляной
есть пример рукоблудья, в Природе данный.
 Я сижу у окна, обхватив колени,
 в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,
но зато ее хором не спеть. Не диво,
что в награду мне за такие речи
своих ног никто не кладет на плечи.

Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.

Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.

1971

24 декабря 1971 года

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных слякоть и давка.

Из-за банки кофейной халвы

производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблюд.

Сетки, сумки, авоськи, кильки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров

в транспорт прыгают, ломятся в двери,

исчезают в провалах дворсв,

даже зная, что пусто в пещере:

ни животных, ни яслей, ни Той,

над Которою — нимб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства —

основной механизм Рождества.

То и празднуют ныне везде,
 что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
 пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
 и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят
 трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
 Кто грядет — никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
 могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке
 из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
 и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
 смотришь в небо и видишь — звезда.

1972

Одному тирану

Он здесь бывал: еще не в галифе —
в пальто из драпа; сдержанный, сутулый.
Арестом завседгатаев кафе
покончив позже с мировой культурой,
он этим как бы отомстил (не им,
но Времени) за бедность, униженья,
за скверный кофе, скуку и сраженья
в двадцать одно, проигранные им.

И Время проглотило эту месть.
Теперь здесь людно, многие смеются,
гремят пластинки. Но пред тем, как сесть
за столик, как-то тянет оглянуться.
Везде пластмасса, никель — все не то;
в пирожных привкус бромистого натра.
Порой, перед закрытьем, из театра
он здесь бывает, но инкогнито.

Когда он входит, все они встают.
Одни — по службе, прочие — от счастья.
Движением ладони от запястья
он возвращает вечеру уют.
Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда,
и ест рогалик, примостившись в кресле,
столь вкусный, что и мертвые «о да!»
воскликнули бы, если бы воскресли.

январь 1972

Похороны Бобо

1

Бобо мертва, но шапки не долой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не приколем бабочку иглой
Адмиралтейства — только изувечим.

Квадраты окон, сколько ни смотри
по сторонам. И в качестве ответа
на «Что стряслось» пустую изнутри
открой жестянку: «Видимо, вот это».

Бобо мертва. Кончается среда.
На улицах, где не найдешь ночлега,
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.

2

Бобо мертва, и в этой строчке грусть.
Квадраты окон, арок полукружья.
Такой мороз, что коль убьют, то пусть
из огнестрельного оружия.

Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.
Слеза к лицу разрезанному сыру.
Нам за тобой последовать слабо,
но и стоять на месте не под силу.

Твой образ будет, знаю наперед,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшаться, но наоборот
в неповторимой перспективе России.

3

Бобо мертва. Вот чувство, дележу
доступное, но скользкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.

Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.

Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести «не надо».
Наверно, после смерти — пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.

4

Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем — точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало.

Бобо мертва. На круглые глаза
вид горизонта действует, как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней, как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.

Песня невинности, она же — опыта

1

*«On a cloud I saw a child,
and he laughing said to me...
W. Blake¹*

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
То, что нам приснится, и станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ — они нас.
Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги,
и не будем чаять души друг в друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

¹ «... Дитя на облачке узрел я,
оно мне молвило, смеясь...»
В. Блейк

2

Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.
Наши окна завешаны будут тюлем,
а не забраны черной решеткой тюрем.

Мы с приятной работы вернемся рано.
Мы глаза не спустим в кино с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,
перемножив и баки залив горючим,
двадцать мест поехать куда получим.

3

Соловей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
Согрешивши, мы сами и станем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внучек. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть так же плохо,
как вчера, и слово сие писать
в *tempi* следует нам *passati*.

Потому что душа существует в теле,
жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
ибо так вкуснее; нам так сказали.

* *
*

*«Hear the voice of the Bard!»
W. Blake¹*

1

Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не ладим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
 Нам смеяться стыдно и скучно плакать.

Мы дугу не гнем пэполам с медведем.
Мы на сером волке вперед не едем,
и ему не встать, уколовшись шприцем
 или оземь грянувшись, стройным принцем.

Зная медные трубы, мы в них не трубим.
Мы не любим подобных себе, не любим
тех, кто сделан был из другого теста.
 Нам не нравится время, но чаще — место.

Потому что север далек от юга,
наши мысли цепляются друг за друга,
когда меркнет солнце, мы свет включаем,
 завершая вечер грузинским чаем.

¹ «Внемлите глас Певца!»
В. Блейк

2

Мы не видим всходов из наших пашен.
Нам судья противен, защитник страшен.
Нам дороже свайка, чем матч столетья.
 Дайте нам обед и компот на третье.

Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,
бородавок на пальцах и прочей мрази.
 Подарите нам тюбик хорошей мази.

Нам приятней глупость, чем хитрость лисья.
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.
И, когда их срывает Борей до срока,
 ничего не чувствуем, кроме шока.

Потому что тепло переходит в холод,
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.
Не рассудок наш, а глаза ослабли,
 чтоб искать отличие орла от цапли.

3

Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам знаком при жизни предмет боязни:
пустота вероятней и хуже ада.
 Мы не знаем, кому нам сказать «не надо».

Наши жизни, как строчки, достигли точки.
В изголовьи дочки в ночной сорочке
или сына в майке не встать нам снами.
 Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.

То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
 Дайте нам припасть напоследок к фляге.

Почему все так вышло? И будет ложью
на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
 Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

Сретенье

Когда она в церковь впервые внесла
дителя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие...»

И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих
падение одних, возвышение других,
предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружием, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропею
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

март 1972

Одиссей Телемаку

Мой Телемак,

Троянская война
окончена. Кто победил — не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь, и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.

Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но, может быть, и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.

1972

В озерном краю

В те времена в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой цивилизации — в быту
профессор красноречия, — я жил
в колледже возле Главного из Пресных
озер, куда из недорослей местных
был призван для вытягиванья жил.

Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
сбегала на подушку по щеке
быстрей, чем я загадывал желанье.

1972

*

* *

Осенний вечер в скромном городке,
гордящемся присутствием на карте
(топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкою судьи накоротке).

Уставшее от собственных причуд,
Пространство как бы скидывает бремя
величья, ограничиваясь тут
чертами Главной улицы; а Время
взирает с неким холодом в кости
на циферблат колониальной лавки,
в чьих недрах все, что смог произвести
наш мир: от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущенною шторой,
кирпичный банк с распластанным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.
В шесть вечера, как вследствие атомной
войны, уже не встретишь ни души.
Луна вплывает, вписываясь в темный
квадрат окна, что твой Экклезиаст.
Лишь изредка несущийся куда-то
шикарный бьюик фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

1972

На смерть друга

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

1973

Лагуна

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемиа» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.

II

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.

III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лижет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.

IV

Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовьи встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.

V

Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянный графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.

VI

Рождество без снега, шаров и ели
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне — ее одну.

VII

Тонуший город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!»,
в плеске зеркал захлебнуться рад.

VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
 слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом,
 и слюну леденит во рту.

IX

Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
 жест получим, похожий на
молот в серпе, — и, как черт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
 принявшей образ дурного сна.

X

Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
 и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
не был вкус поцелуев эбре и гоек,
 и города, где стопа следа

XI

не оставляет, как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
 взятое в цифрах, сводя к нулю,
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай», широких,
 в улицах узких, как звук «люблю».

XII

Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов, взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветром, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.

XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то «никуда», задержаться в коем
мысли можно, зрачку — нельзя.

XIV

Там, за нигде, за его пределом
— черным, бесцветным, возможно, белым —
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.

1973

На смерть Жукова

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

1974

Двадцать сонетов к Марии Стюарт

1

Мари, шотландцы все-таки скоты.
В каком колене клетчатого клана
предвиделось, что двинешься с экрана
и оживишь, как статуя, сады?
И Люксембургский, в частности? Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и в пруды.
Где встретил Вас. И в силу этой встречи,
и так как «все бывшее оживило
в отжившем сердце», в старое жерло
вложив заряд классической картечи,
я трачу что осталось русской речи
на Ваш анфас и матовые плечи.

2

В конце большой войны не на живот,
когда что было жарили без сала,
Мари, я видел мальчиком, как Сара
Леандр шла топ-топ на эшафот.
Меч палача, как ты бы не сказала,
приравнивает к полу небосвод
(см. светило, вставшее из вод).
Мы вышли все на свет из кинозала,
но нечто нас в час сумерек зовет
назад в «Спартак», в чьей плюшевой утробе
приятнее, чем вечером в Европе.
Там снимки звезд, там главная — брюнет,
там две картины, очередь на обе.
И лишнего билета нет.

3

Земной свой путь пройдя до середины,
я, заявившись в Люксембургский сад,
смотрю на затвердевшие седины
мыслителей, письменников; и взад-
вперед гуляют дамы, господины,
жандарм синеет в зелени, усат,
фонтан мурлычит, дети голосят,
и обратиться не к кому с «иди на».
И ты, Мари, не покладая рук,
стоишь в гирлянде каменных подруг,
французских королев во время оно.
Безмолвно, с воробьем на голове.
Сад выглядит как помесь Пантеона
со знаменитой «Завтрак на траве».

4

Красавица, которую я позже
любил сильнее, чем Босуэла — ты,
с тобой имела общие черты
(шепчу автоматически «о, Боже»,
их вспоминая) внешние. Мы тоже
счастливой не составили четы.
Она ушла куда-то в макинтоше.
Во избежанье роковой черты,

я пересек другую — горизонта,
чье лезвие, Мари, острее ножа.
Над этой вещью голову держа
не кислорода ради, но азота,
бурлящего в раздувшемся зобу,
гортань... того... благодарит судьбу.

5

Число твоих любовников, Мари,
превысило собою цифру три,
четыре, десять, двадцать, двадцать пять.
Нет для короны большего урона,
чем с кем-нибудь случайно переспать.
(Вот почему обречена корона;
республика же может устоять,
как некая античная колонна.)
И с этой точки зренья ни на пядь
не сдвинете шотландского барона.
Твоим шотландцам было не понять,
чем койка отличается от трона.
В своем столетьи белая ворона,
для современников была ты блядь.

6

Я вас любил. Любовь еще (возможно,
что просто боль) сверлит мои мозги.
Все разлетелось к черту на куски.
Я застрелиться пробовал, но сложно
с оружием. И далее: виски:
в который вдарить? Портила не дрожь, но
задумчивость. Черт! все не по-людски!
Я вас любил так сильно, безнадежно,
как дай вам Бог другими — но не даст!
Он, будучи на многое горазд,
не сотворит — по Пармениду — дважды
сей жар в крови, ширококостный хруст,
чтоб пломбы в пасти плавилась от жажды
коснуться — «бюст» зачеркиваю — уст!

7

Париж не изменился. Плас де Вож
 по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
 Река не потекла еще обратно.
 Бульвар Распай по-прежнему пригож.
 Из нового — концерты за бесплатно
 и башня, чтоб почувствовать — ты вошь.
 Есть многие, с кем свидеться приятно,
 но первым прокричавши «как живешь?».

В Париже, ночью, в ресторане... Шик
 подобной фразы — праздник носоглотки.
 И входит айне кляйне нахт мужик,
 внося мордоворот в косоворотке.
 Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
 Луна, что твой генсек в параличе.

8

На склоне лет, в стране за океаном
 (открытой, как я думаю, при Вас),
 деля помятый свой иконостас
 меж печкой и продавленным диваном,
 я думаю, сведи удача нас,
 понадобились вряд ли бы слова нам:
 ты просто бы звала меня Иваном
 и я бы отвечал тебе «Alas».

Шотландия нам стала бы матрас.
 Я б гордым показал тебя славянам.
 В порт Глазго, караван за караваном,
 пошли бы лапти, пряники, атлас.
 Мы встретили бы вместе смертный час.
 Топор бы оказался деревянным.

Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг сражения. «Ты кто такой?» — «А сам ты?»
 «Я кто такой?» — «Да, ты». — «Мы протестанты».
 «А мы католики». — «Ах вот как!» Хряск!
 Потом везде валяются останки.
 Шум нескончаемых вороньих дряг.
 Потом — зима, узорчатые санки,
 примерка шали: «Где это — Дамаск?»
 «Там, где самец-павлин прекрасней самки».
 «Но даже там он не проходит в дамки»
 (за шашками — передохнув от ласк).
 Ночь в небольшом по-голливудски замке.

Опять равнина. Полночь. Входят двое.
 И все сливается в их волчьем вое.

Осенний вечер. Якобы с Каменной.
 Увы, не поднимающей чела.
 Не в первый раз. В такие вечера
 все в радость, даже хор краснознаменный.
 Сегодня, превращаясь во вчера,
 себя не утруждая переменой
 пера, бумаги, жижицы пельменной,
 изделия хромого бочара
 из Гамбурга. К подержанным вещам,
 имеющим царапины и пятна,
 у времени чуть больше, вероятно,
 доверия, чем к свежим овощам.
 Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
 в посадском, молью траченном жакете.

Лязг ножниц, ощущение озноба.
 Рок, жадный до каракуля с овцы,
 что брачные, что царские венцы
 снимает с нас. И головы особо.
 Прощай, юнцы, их гордые отцы,
 разводы, клятвы верности до гроба.
 Мозг чувствует, как башня небоскреба,
 в которой не общаются жильцы.
 Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
 где пьет один, забуревают — оба.
 Никто не прокричит тебе «Атас!».
 И ты не знала «я одна, а вас»,
 глуша латынью потолок и Бога,
 увы, Мари, как выговорить «много».

Что делает Историю? — Тела.
 Искусство? — Обезглавленное тело.
 Взять Шиллера: Истории влетело
 от Шиллера. Мари, ты не ждала,
 что немец, закусивши удила,
 поднимет старое, по сути, дело:
 ему-то вообще какое дело,
 кому дала ты или не дала?

Но, может, как любая немчура,
 наш Фридрих сам страшился топора.
 А во-вторых, скажу тебе, на свете
 ничем (вообрази это), oprичь
 Искусства, твои стати не постичь.
 Историю отдай Елизавете.

Баран трясет кудряшками (они же
 — руно), вдыхая запахи травы.
 Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
 В тот день их речи были таковы:
 «Ей отрубили голову. Увы».
 «Представьте, как рассердятся в Париже».
 «Французы? Из-за чьей-то головы?
 Вот если бы ей тяпнули пониже...»
 «Так не мужик ведь. Вышла в неглиже».
 «Ну, это, как хотите, не основа...»
 «Бесстыдство! Как просвечивала жé!»
 «Что ж, платья, может, не было иного».
 «Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
 звучит как баба в каждом падеже».

Любовь сильней разлуки, но разлука
 длинней любви. Чем статнее гранит,
 тем явственней отсутствие ланит
 и прочего. Плюс запаха и звука.
 Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:
 на то и камень (это ли не мука?),
 но то, что страсть, как Шива, шестирука,
 бессильна — юбку он не извинит.

Не от того, что столько утекло
 воды и крови (если б голубая!),
 но от тоски расстегиваться врозь
 воздвиг бы я не камень, но стекло,
 Мари, как воплощение гудбая
 и взгляда, проникающего сквозь.

15

Не то тебя, скажу тебе, сгубило,
Мари, что женихи твои в бою
поднять не звали плотников стропила;
не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю»;
не чьи-то симпатичные чернила;
не то, что — за печатями семью —
Елизавета Англию любила
сильней, чем ты Шотландию свою
(замечу в скобках, так оно и было);
не песня та, что пела соловью
испанскому ты в камере уныло.
Они тебе заделали свинью
за то, чему не видели конца
в те времена: за красоту лица.

16

Тьма скрадывает, сказано, углы.
Квадрат, возможно, делается шаром,
и на ночь глядя залитым пожаром
багровый лес незримому курлы
беззвучно внемлет порами коры;
лай сеттера, встревоженного шалым
сухим листом, возносится к Стожарам,
смотрящим на озимые бугры.

Немногое, чем блазилась слеза,
сумело уцелеть от перехода
в сень перегноя. Вечному перу
из всех вещей, бросавшихся в глаза,
осталось следовать за временами года,
петь на-голос «Унылую Пору».

То, что исторгло изумленный крик
 из английского рта, что к мату
 склоняет падкий на помаду
 мой собственный, что отвернуть на миг
 Филиппа от портрета лик
 заставило и снарядить Армаду,
 то было — не могу тираду
 закончить — в общем, твой парик,
 упавший с головы упавшей
 (дурная бесконечность), он,
 твой есть единственный поклон,
 пускай не вызвал рукопашной
 меж зрителей, но был таков,
 что поднял на ноги врагов.

Для рта, проговорившего «прощай»
 тебе, а не кому-нибудь, не все ли
 одно, какое хлебово без соли
 разжевывать впоследствии. Ты, чай,
 привычная к не-доремифасоли.
 А если что не так — не осерчай:
 язык, что крыса, копошится в соре,
 выскивает что-то невзначай.

Прости меня, прелестный истукан.
 Да, у разлуки все-таки не дура
 губа (хоть часто кажется — дыра):
 меж нами — вечность, также — океан.
 Причем, буквально. Русская цензура.
 Могли бы обойтись без топора.

Мари, теперь в Шотландии есть шерсть
 (все выглядит как новое из чистки).
 Жизнь бег свой останавливает в шесть,
 на солнечном не сказываясь диске.
 В озерах — и по-прежнему им несть
 числа — явились монстры (василиски).
 И скоро будет собственная нефть,
 шотландская, в бутылках из-под виски.

Шотландия, как видишь, обошлась.
 И Англия, мне думается, тоже.
 И ты в саду французском непохожа
 на ту, с ума сводившую вчерась.
 И дамы есть, чтоб предпочесть тебе их,
 но непохожие на вас обеих.

Пером простым, неправда, что мятежным,
 я пел про встречу в некоем саду
 с той, кто меня в сорок восьмом году
 с экрана обучала чувствам нежным.
 Предоставляю вашему суду:
 а) был ли он учеником прилежным,
 в) новую для русского среду,
 с) слабость к окончаниям падежным.

В Непале есть столица Катманду.

Случайное, являясь неизбежным,
 приносит пользу всякому труду.

Ведя ту жизнь, которую веду,
я благодарен бывшим белоснежным
листам бумаги, свернутым в дуду.

1974

Мексиканский дивертисмент

Гуернавка

В саду, где М., французский протезе,
имел красавицу густой индейской крови,
сидит певец, прибывший издаля.
Сад густ, как тесно набранное «Ж».
Летает дрозд, как сросшиеся брови.
Вечерний воздух звонче хрустала.

Хрусталь, заметим походя, разбит.
М. был здесь императором три года.
Он ввел хрусталь, шампанское, балы.
Такие вещи скрашивают быт.
Затем республиканская пехота
М. расстреляла. Грустное курлы

доносится из плотной синевы.
Селяне околачивают груши.
Три белых утки плавают в пруду.
Слух различает в ропоте листвы
жаргон, которым пользуются души,
общаясь в переполненном Аду.

*

* *

Отбросим пальмы. Выделив платан,
представим М., когда, перо отбросив,
он скидывает шелковый шлафрок
и думает, что делает братан
(и тоже император) Франц-Иосиф,
насвистывая с грустью «Мой сурок».

«С приветом к вам из Мексики. Жена
сошла с ума в Париже. За стеною
дворца стрельба, пылают петухи.
Столица, милый брат, окружена
повстанцами. И мой сурок со мною.
И гочкис популярнее сохи.

И то сказать, третичный известняк
известен как отчаянная почва.
Плюс экваториальная жара.
Здесь пуля есть естественный сквозняк.
Так чувствуют и легкие, и почка.
Потею, и слезает кожа.

Опричь того, мне хочется домой.
Скучаю по отеческим трущобам.
Пошлите альманахов и поэм.
Меня убьют здесь, видимо. И мой
сурок со мною, стало быть. Еще вам
моя мулатка кланяется. М.»

*

* * *

Конец июля прячется в дожди,
как собеседник в собственные мысли.
Что, впрочем, вас не трогает в стране,
где меньше впереди, чем позади.
Бренчит гитара. Улицы раскисли.
Прохожий тонет в желтой пелене.

Включая пруд, все сильно заросло.
Кишат ужи и ящерицы. В кронах
клубятся птицы с яйцами и без.
Что губит все династии — число
наследников при недостатке в тронах.
И наступают выборы и лес.

М. не узнал бы местности. Из ниш
исчезли бюсты, портики пожухли,
стена осела деснами в овраг.
Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь.
Сады и парки переходят в джунгли.
И с губ срывается невольное: рак.

1867

В ночном саду под гроздью зреющего манго
Максимильян танцует то, что станет танго.
Тень воз-вращается подобьем бумеранга,
температура, как подмышкой, тридцать шесть.

Мелькает белая жилетная подкладка.
Мулатка тает от любви, как шоколадка,
в мужском объятии посапывая сладко.
Где надо — гладко, где надо — шерсть.

В ночной тиши под сенью девственного леса
Хуарец, действуя как двигатель прогресса,
забывшим начисто, как выглядят два песо,
пеонам новые винтовки выдает.

Затворы клацают; в расчерченной на клетки
Хуарец ведомости делает отметки.
И попугай весьма тропической расцветки
сидит на ветке и так поет:

Презренье к ближнему у нюхающих розы
пускай не лучше, но честней гражданской позы.
И то, и это порождает кровь и слезы.
Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,

распространяется, как мухами — зараза,
иль как в кафе удачно брошенная фраза,
и где у черепа в кустах всегда три глаза,
и в каждом—пышный пучок травы.

Мерида

Коричневый город. Веер
пальмы и черепица
старых построек.
С кафе начиная, вечер
входит в него. Садится
за пустующий столик.

В позлащенном лучами
ультрамарине неба
колокол, точно
кто-то бренчит ключами:
звук, исполненный неги
для бездомного. Точка

загорается рядом
с колокольной собора.
Видимо, Веспер.
Проводив его взглядом,
полным пусть не укора,
но сомнения, вечер

допивает свой кофе,
красящий его скулы.
Платит за эту
чашку. Шляпу на брови
надвинув, встает со стула,
складывает газету

и выходит. Пустая
улица провожает
длинную в черной
паре фигуру. Стая
теней его окружает
под навесом — никчемный

сброд: дурные манеры,
пятна, драные петли.
Он бросает устало:
«Господа офицеры.
Выступайте немедленно.
Время настало.

А теперь — врассыпную.
Вы, полковник, что значит
этот луковый запах?»
Он отвязывает вороную
лошадь. И скачет
дальше на Запад.

В отеле «Континенталь»

Победа Мондриана. За стеклом —
пир кубатуры. Воздух или выпит
под девяносто градусов углом,
иль щедро залит в параллелепипед.
В проем оконный вписано бедро
красавицы — последнее оружие:
раскрыв халат, напоминает про
пускай не круг хотя, но полукружье,
но сектор циферблата.

Говоря
насчет ацтеков, слава краснокожим
за честность вычесть из календаря
два месяца, в которые «не можем»
в платоновой пещере, где на брата
приходится кусок пиэрквadrата.

Мексиканский романсеро

Кактус, пальма, агава.
Солнце встает с Востока,
улыбаясь лукаво,
а приглядишь — жестоко.

Испепеленные скалы,
почва в мертвой коросте.
Череп в его оскале!
И в лучах его — кости!

С голой шеей, уродлив,
на телеграфном насесте
стервятник — как иероглиф
падали в буром тексте

автострады. Направо
пойдешь — там стоит агава.
Она же — налево. Прямо —
груда ржавого хлама.

*

* *

Вечерний Мехико-Сити.
Лень и слепая сила
в нем смешаны, как в сосуде.
И жизнь течет, как текила.

Улицы, лица, фары.
Каждый второй — усатый.
На Авениде Реформы
масса бронзовых статуй.

Подле каждой, на кромке
тротуара, с рукою
протянутой — по мексиканке
с грудным младенцем. Такою

фигурой — присохшим плачем —
и увенчать бы на деле
Памятник Мексике! Впрочем,
и под ним бы сидели.

*
* *
*

Сад громоздит листву и
не выдает вас зною.
(Я знал, что я существую,
пока ты была со мною.)

Площадь. Фонтан с рябою
нимфою. Скаты кровель.
(Покуда я был с тобою,
я видел все вещи в профиль.)

Райские кущи с адом
голосов за спиною.
(Кто был все время рядом,
пока ты была со мною?)

Ночь с багровой луною,
как сургуч на конверте.
(Пока ты была со мною,
я не боялся смерти.)

* *
*

Вечерний Мехико-Сити.
Большая любовь к вокалу.
Бродячий оркестр в беседке
горланит «Гвадалахару».

Веселый Мехико-Сити.
Точно картина в раме,
но неизвестной кисти,
он окружен горами.

Вечерний Мехико-Сити.
Пляска горячих литер
Кока-Колы. В зените
реет Ангел-Хранитель.

Здесь это связано с риском
быть подстреленным с ходу,
сделаться обелиском
и представлять Свободу.

* *
*

Что-то внутри, похоже,
сорвалось, расколосось.
Произнося «о Боже»,
слышу собственный голос.

Так страницу мараешь
ради мелкого чуда.
Так при этом зриаешь
на себя ниоткуда.

Это, Отче, издержки
жанра (правильней — жара).
Сдача медная с решки
безвозмездного дара.

Как несхоже с мольбою!
Так, забыв рыболова,
рыба рваной губою
тщетно дергает слово.

*

* * *

Веселый Мехико-Сити.
Жизнь течет, как текила.
Вы в харчевне сидите.
Официантка забыла

о вас и вашем омлете,
заболтавшись с брюнетом.
Впрочем, как все на свете.
По крайней мере на этом.

Ибо, смерти помимо,
все, что имеет дело
с пространством, — все заменимо.
И особенно тело.

И этот вам уготован
жребий, как мясо с кровью.
В нищей стране никто вам
вслед не смотрит с любовью.

*

* * *

Стелющаяся полого
грунтовая дорога,
как пыльная форма бреда,
вас приводит в Ларедо.

С налитым кровью глазом
вы осядете наземь,
подломивши колени,
точно бык на арене.

Жизнь бессмысленна. Или
слишком длинна. Что в силе
речь о нехватке смысла
оставляет — как числа
в календаре настенном.
Что удобно растениям,
камню, светилам. Многим
предметам. Но не двуногим.

К Евгению

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на Тегуантепекском перешейке.
Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными грибами.

Глиняные божки, поддающиеся подделке
с необычайной легкостью, вызывающей кривотолки.
Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым
туловищем змеи неразгаданным алфавитом
языка, не знавшего слова «или».
Что бы они рассказали, если б заговорили?

Ничего. В лучшем случае, о победах
над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу;
что вечерняя жертва восьми молодых и сильных
обеспечивает восход надежнее, чем будильник.

Все-таки лучше сифилис, лучше жерла
единорогов Кортеса, чем эта жертва.
Ежели вам глаза скормить суждено воронам,
лучше если убийца убийца, а не астроном.
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось
толком узнать, что вообще случилось.

Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!» Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта, «на всех стихиях...».
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

Заметка для энциклопедии

Прекрасная и нищая страна.

На западе и на востоке — пляжи двух океанов. Посредине — горы, леса, известняковые равнины и хижины крестьян. На юге — джунгли с руинами великих пирамид.

На севере — плантации, ковбои, переходящие невольню в США.

Что позволяет перейти к торговле.

Предметы вывоза — марихуана, цветной металл, посредственное кофе, сигары под названием «Корона» и мелочи народных мастеров.

(Прибавлю: облака.) Предметы ввоза — все прочее и, как всегда, ружье.

Обзаведясь которым, как-то легче заняться государственным устройством.

История страны грустна; однако нельзя сказать, чтоб уникальна. Главным злом признано вторжение испанцев и варварское разрушение древней цивилизации ацтеков. Это есть местный комплекс Золотой Орды. С той разницею, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком.

Сегодня тут Республика. Трехцветный флаг развевается над президентским палацом. Конституция прекрасна. Текст со следами сильной чехарды диктаторов лежит в Национальной Библиотеке под зеленым, пуле-

непроницаемым стеклом — причем,
таким же, как в роллс-ройсе президента.

Что позволяет сквозь него взглянуть
в грядущее. В грядущем население,
бесспорно, увеличится. Пеон,
как прежде, будет взмахивать мотыгой
под жарким солнцем. Человек в очках
листать в кофейне будет с грустью Маркса.
И ящерица на валуне, задрав
головку в небо, будет наблюдать

полет космического аппарата.

1975

Часть речи

* *
*

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

* *
*

Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань проговорить «впусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согреть в горсти.

Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится, и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.

И в гортани моей, где положен смех,
или речь, или горячий чай,
все отчетливей раздается снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».

• *
*

Узнаю этот вечер, налетающий на траву,
под него ложающуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обогранный князь.
Растекаясь широкой стрелой по кривой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

*

* *

Это — ряд наблюдений. В углу — тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.

Зимний вечер с вином в нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.

Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст,
не имевших сказать кому.

*
* *

Потому что каблук оставляет следы — зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по проходим себя узнают дома.
Что сказать ввечеру о грядущем, коли
воспоминанья в ночной тиши
о тепле твоих — пропуск — когда уснула,
тело отбрасывает от души
на стену, точно тень от стула
на стену ввечеру свеча,
и под скатертью стянутым к лесу небом
над силосной башней натертый крылом грача
не отбелишь воздух колючим снегом.

*
* *
*

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы; отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос;
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.

*
* *

Что касается звезд, то они всегда.
То есть, если одна, то за ней другая.
Только так оттуда и можно смотреть сюда;
вечером, после восьми, мигая.
Небо выглядит лучше без них. Хотя
освоение космоса лучше, если
с ними. Но именно не сходя
с места, на голой веранде, в кресле.
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не удержишь взгляда.

*

* *

В городке, из которого смерть расплзлась по школьной
карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики и стрелки кирпичи;
вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не ходит больше у стадиона.
Настоящий конец войны — это на тонкой спинке
венского стула платье одной блондинки
да крылатый полет серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.

Мюнхен

*

* *

Около океана, при свете свечи; вокруг
поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.
Вечеру у тела, точно у Шивы. рук.
дотянуться желающих до бесценной.
Упадая в траву, сова настигает мышь,
беспричинно поскрипывают стропила.
В деревянном городе крепче спишь,
потому что снится уже только то, что было.
Пахнет свежей рыбой, к стене прилип
профиль стула, тонкая марля вяло
шевелится в окне; и луна поправляет лучом прилив,
как сползающее одеяло.

*

* *

Ты забыла деревню, затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат — не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

*

* *

Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое — на страх поводиам,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведеаем, как жизнь проводим?
Как поздно за полночь ища глазуню
луны за шторами зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там не размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный тихотворение?

*
* *

Темно-синее утро в заиндевевшей раме
напоминает улицу с горящими фонарями,
ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,
толчею в раздевалке в восточном конце Европы.
Там звучит «ганнибал» из худого мешка на стуле,
сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;
что до черной доски, от которой мороз по коже,
так и осталась черной. И сзади тоже.
Дребезжащий звонок серебристый иней
преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий
все оказалось правдой и в кость оделось;
неохота вставать. Никогда не хотелось.

*

* *

С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скатывая облака,
совпадает — чем бы не замели
следы — с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемое нуля.

И улыбка скользит, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

*
* *
*

Заморозки на почве и облысенье леса,
небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного октября,
ежась, число округляешь до «ох ты бля».
Ты не птица, чтоб улететь отсюда;
потому что, как в поисках милой, всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимую же тут, с черной обложкой рядом,
проницаемой стужей снаружи, отсюда — взглядом,
наколов на буквы пером слова,
как сложенные в штабеля дрова.

*
* *
*

Всегда остается возможность выйти из дому на
улицу, чья коричневая длина
успокоит твой взгляд подъездами, худобою
голых деревьев, бликами луж, ходьбою.
На пустой голове бриз шевелит ботву,
и улица вдалеке сужается в букву «у»,
как лицо к подбородку, и лающая собака
вылетает из подворотни, как скомканная бумага.
Улица. Некоторые дома
лучше других: больше вещей в витринах,
и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума,
то, во всяком случае, не внутри них.

*

* *

Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел.
Можно сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго, — если бы знать, где Север.
Земля под лапкой грача действительно горяча;
пахнет тесом, свежей смолой. И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, снимающего не нас,
но обмякшее тело и лужу крови.

*

* * *

Если что-нибудь петь, то перемену ветра
западного на восточный, когда замерзшая ветка
перемещается влево, поскрипывая от неохоты,
и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты.
В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившимся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.

*
* *

... и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
После стольких зим уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздается не неземное «до»,
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.

*
* *
*

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерял.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это —
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт. Свобода
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Ширази,
и хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

Развивая Платона

I

Я хотел бы жить, Fortunatus, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава — рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера, и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой.

II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким же количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облакает квартал в рядно,
я б скучал в Галерее, где каждое полотно
— особенно Энгра или Давида —
как родимое выглядели бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне стада
мычащих автомобилей, спующих туда-сюда
мимо стройных нагих колонн с дорической прической,
безмятежно белеющих на фронте Суда.

IV

И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремяна

Истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно за полночь возвращаясь пешком к себе,
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, някая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!» —

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
запоминай же подробности, восклицая «*Vive la Patrie!*»

*

* * *

Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,
что звучит как вчера.
Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не
как тот считает, наоборот.
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю как клубок
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

Шорох акации

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам — тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: все чаще на светофорах — «Стой».
Приобретая газету, ее начинаешь с той
колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овального зеркала над раковиной, в которой бурлит моча,
на тебя тарашится, сжав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

*

* *

Восходящее желтое солнце следит косыми
глазами за мачтами голой роши,
идушей на всех парах к цусиме
Крещенских морозов. Февраль короче
прочих месяцев и оттого лютее.
Кругосветное плавание, дорогая,
лучше кончить, руку согнув в локте и
вместе с дредноутом догорая
в недрах камина. Забудь цусиму!
Только огонь понимает зиму.
Золотистые лошади без уздечек
масть в дымоходе меняют на масть воронью.
И в потемках стрекочет огромный нагой кузнечик,
которого не накрыть ладонью.

Шведская музыка

К. Х.

Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?

Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
... так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука,
так довольно спички, чтобы разжечь плиту,
так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.

Bagatelle

Елизавете Лионской

I

Помраченье июльских бульваров, когда, точно деньги во сне,
пропадают из глаз, возмущенно шурша, миллиарды,
и, как сдача, звезда дребезжит, серебрясь в желтизне
не от мира сего замусоленной ласточкой карты.

Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,
сокращает красавиц до профилей в ихних камеях;
от великой любви остается лишь равенства знак
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.

И ночной аквилон, рыхлой мышце ища волокно,
как возможную жизнь, теребит взбаламученный гарус,
разодрав каковой, от земли отплывает фоно
в самодельную бурю, подняв полированный парус.

II

Города знают правду о памяти, об огромности лестниц в
разоренном гнезде, о победах прямой над отрезком.
Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас,
воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским.

И всегда за спиной, как отбросив костяшки, рука
то ли машет вослед, в направлены растрченных денег,
то ли вслух громоздит зашвырнувшую вас в облака
из-под пальцев аккордом бренчащую сумму ступенек.

Но чем ближе к звезде, тем все меньше перил; у квартир —
вид неправильных туч, зараженных квадратностью, тюлем,
и верстке, чью спираль граммофон до конца раскрутил,
лучше броситься под ноги взапуски замершим стульям.

III

Разрастаясь, как мысль облаков о себе в синеве,
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
обращается к звуку, к его серебру в соловье,
центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.

Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи
в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,
руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи
к бытию вне себя, в просторечьи — к его безголосью.

Так лучи подбирают пространство: так пальцы слепца
неспособны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!».
Освещенная вещь обрастает чертами лица.
Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.

Роттердамский дневник

I

Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.
Раскрывши зонт, я поднимаю ворот.
Четыре дня они бомбили город,
и города не стало. Города
не люди, не прячутся в подъезде
во время ливня. Улицы, дома
не сходят в этих случаях с ума
и, падая, не призывают к мести.

II

Июльский полдень. Капает из вафли
на брючину. Хор детских голосов.
Вокруг — громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменной облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.

III

Как время ни целебно, но культя,
не видя средств отличия от цели.
саднит. И тем сильней — от панацен.
Ночь. Три десятилетия спустя,
мы пьем вино при крупных летних звездах
в квартире на двадцатом этаже —
на уровне, достигнутом уже
взлетевшими здесь некогда на воздух.

Роттердам, июль 1973 г.

*

* *

Я распугивал ящериц в зарослях чаппарала,
куковал в казенных домах, переплывал моря,
жил с китайкой. Боюсь, моя
столбовая дорога вышла длинней, чем краля
на Казанском догадывалась. И то:
по руке не вычислить скорохода.
Наизнанку вывернутое пальто,
сводит с ума даже время года,
а не только что мусора. Вообще верста,
падая жертвой свою предела,
губит пейзаж и плодит места,
где уже не нужно, я вижу, тела.
Знать, кривая способна тоже, в пандран прямой,
озверевши от обуви, пробормотать «не треба».
От лица фотографию легче послать домой,
чем срисовывать ангела в профиль с неба.

Письма династии Минь

I

«Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон, убаюканный ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невеселые, нечеткие годовщины.

Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке.

Небо тоже исколото шпильями, как лопатки и затылок больного (которого только спину мы и видим). И я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.

Это письмо от твоей, возлюбленной, Дикой Утки писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.

Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса».

II

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли. Особенно, отсчитывая от «о».

Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли — тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова перекидывается на цифры; особенно на ноли.

Ветер несет на Запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
На фоне ее человек уродлив и страшен, как иероглиф;
как любые другие неразборчивые письма.
Движение в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, жившие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя».

Элегия

До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу
в возбужденье. Что, впрочем, естественно. Ибо связи
не чета голой мышце, волосу, багажу
под холодными буркалами, и не бздюме утряски
вещи с возрастом. Взятый вне мяса, звук
не изнашивается в результате тренья
о разреженный воздух, но, близорук, из двух
зол выбирает обычно большее: повторенье
некогда сказанного. Трезвая голова
сильно с этого кружится по вечерам подолгу,
точно пластинка, стачивая слова,
и пальцы мешают друг другу извлечь иголку
из заросшей извилины — как отдавая честь
наважденью в форме нехватки текста
при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть
вещи, предметы, между собой столь тесно
связанные, что, норовя прослыть
подлинно матерью и т. д. и т. п., природа
могла бы сделать еще один шаг и слить
их воедино: тум-тум фокстрота
с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас,
в крайнем случае. То есть повисить в ранге
достиженья Мичурина. У щуки уже сейчас
чешуя цвета консервной банки,
цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорей
разделяет, чем смешивает. И уменьшает чаще,
чем увеличивает; вспомни размер зверей
в плейстоценовой чаще. Мы — только части
крупного целого, из коего вьется нить
к нам, как шнур телефона, от динозавра
оставляя простой позвоночник. Но позвонить
по нему больше некуда, кроме как в послезавтра,
где откликнется лишь инвалид — зане
потерявший конечность, подругу, душу, —
есть продукт эволюции. И набрать этот номер мис —
как выползти из воды на сушу.

Полонез: вариация

I

Осень в твоём полушарьи кричит «курлы».
С обнищавшей державы сползает границ подруга.
И, хотя окно не закрыто, уже углы
привыкают к сорочке, как центру круга.
А как лампу зажжешь, хоть строчи донос
на себя в никуда, и перо — улика.
Плюс могилы нет, чтоб исправить нос
в пианино ушедшего Фредерика.
В полнолуние жнивье из чужой казны
серебром одаривает мочежжина.
Повернешься на бок к стене, и сны
двинут оттуда, как та дружина,
через двор на зады, прорывать кольцо
конопли. Но кольчуге не спрятать рубищ.
И затем что все на одно лицо,
согрешивши с одним, тридцать трех полюбишь.

II

Черепица фольварков да желтый цвет
штукатурки подворья, карнизы — бровью.
Балагола одним колесом в кювет
либо — мерин копытом в луну коровью.
И мелькают стога, завалившись в Буг.
Вспять плетется ольшаник с водой в корзинах,
и в распаханых тучах свинцовый плуг
не сулит добра площадям озимых.
Твой холщовый подол, шерстяной чулок,
как ничей ребенок, когтит репейник.
На суровую нитку пространство впрок

зашивает дождем — и прощай, Коперник.
Лишь хрусталик тускнеет, да млечный цвет
тела с россыпью родинок застит платье.
Для самой себя уже силуэт,
ты упасть не способна ни в чьи объятия.

III

Понимаю, что можно любить сильней,
безупречней. Что можно, как сын Кибелы,
оценить темноту и, смешавшись с ней,
выпасть незримо в твои пределы.
Можно, пору за порой, твои черты
воссоздать из молекул пером сугубым.
Либо, в зеркало вперясь, сказать, что ты
это — я; потому что кого ж мы любим,
как не себя? Но запишем судьбе очко:
в нашем будущем, как бы брегет ни медлил,
уже взорвалась та бомба, что
оставляет нетронутой только мебель.
Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.

Венецианские строфы (I)

Сюзанне Зонтаг

I

Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,
и рука, дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго
каменного платка.

II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.
О, девятнадцатый век! Тоска по Востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что — от любви.

III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузе, ни арий.
Одинокий каблук выстукивает диабаз.
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
отшатывается от вас
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем
с собственным эхом; оно обдает теплом
мраморный, гулкий, пустой аквариум
с запотевшим стеклом.

IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон —
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!
жаброй хлопая, лещ!
От нечаянной встречи под потолком с богиней,
сбросившей все с себя, кружится голова,
и подъезды, чье нёбо воспалено ангиной
лампочки, произносят «а».

V

Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал
зеркала! В епанче белый глубокий вырез
как волновал!
Как сирокко — лагуну. Как посреди панели
здесь превращались юбки и панталоны в щи!
Где они все теперь — эти маски, полишинели,
перевертни, плащи?

VI

Так меркнут люстры в опере; так на убыль
к ночи идут в объеме медузами купола.
Так сужается улица, вьющаяся, как угорь,
и площадь — как камбала.
Так подбирает гребни, выпавшие из женских
взбитых причесок, для дочерей Нерей,
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг
уличных фонарей.

VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать поту до тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.

Только фальцет звезды меж телеграфных линий —
там, где глубоким сном спит гражданин Перми¹.
Но вода аплодирует, и набережная — как иней,
осевший на до-ре-ми.

VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,
спихивая как за борт буквы в конце строки,
тщится рассудок предохранить от крена
выпитому вопреки.

Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
нежность не соскрести.

1982

¹ С. Тягилев.

Венецианские строфы (2)

Геннадию Шмакову

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны, сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо — поклеп постели,
сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,
и ангелы — от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало — местный стеклянный выход
вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину затопляет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона золотой Егорий,
как в чернила, копье.

V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир — всю синеву! — в тылу,
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдаётся стеклу.
Кучерявая свора тщится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.

VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпиль, пилястры, арки,
выраженье лица.
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самой Н₂O. Но, как всякое в мире «за»,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.

VII

Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристый берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платье
всплескивать вдалеке.

Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.

VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

1982

Римские элегии

Бенедетте Кравиери

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
Под потолком — пыльный хрустальный остров.
Жалюзи в час заката подобны рыбе,
перепутавшей чешую и остов.
Ставя босую ногу на красный мрамор,
тело делает шаг в будущее — одеться.
Крикни сейчас «замри» — я бы тотчас замер,
как этот город сделал от счастья в детстве.
Мир состоит из наготы и складок.
В этих последних больше любви, чем в лицах.
Так и тенор в опере тем и сладок,
что исчезает навек в кулисах.
На ночь глядя, синий зрачок полощет
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья.
И луна в головах, точно пустая площадь:
без фонтана. Но из того же камня.

II

Месяц замерзших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожектором ПВО в поисках серафима.
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположение ульев
и улетевших к морю покрыться медом.
Хлопчи же, струя, над белоснежной, дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей.

ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном «р» еврея
узнают себя тоже; только слюнным раствором
и скрепляешь осколки, покамест Время
варварским взглядом обводит форум.

III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.
Облака вроде ангелов — в силу летучей тени.
Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним
длинноногой подруги. Я, певец дребедени,
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
в недрах вечного города от светила,
навязавшего цезарям их незрячесть
(этих лучей за глаза б хватило
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь
полдня. Владелец «веспы» мучает передачу.
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль
считаю с прожитой жизни сдачу.
И как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
лавр шелестит на выжженной балюстраде.
И Колизей — точно череп Аргуса, в чьих глазницах
облака проплывают, как память о бывшем стаде.

IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа
той из них, что прекрасней. Два молодых овала
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза
объясняет Судьбе то, что надиктовала.
Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
воздух пропитан лавандой и цикламеном.
Перемена прически; и локоть — на миг — вершина,
привыкшая к ветреным переменам.
О, коричневый глаз впитывает без усилий

мебель того же цвета, шторы, плоды граната.
Он и зорче, он и нежней, чем синий.
Но синему — ничего не надо!
Синий всегда готов отличить владельца
от товаров, брошенных вперемежку
(т. е. время — от жизни), дабы в него взглядеться.
Так орел стремится взглядеться в решку.

V

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.
Тишина уснувшего переулка
обрастает бемолью, как чешуюю рыба,
и коричневая штукатурка
дышит, хлопая жаброй, прелым
воздухом августа, и в горячей
полости горла холодным перлом
перекатывается Гораций.
Я не воздвиг уходящей к тучам
каменной вещи для их остратки.
О своем — и о любом — грядущем
я узнал у буквы, у черной краски.
Так задремывают в обнимку
с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе
сны, себя опознать по снимку,
очнувшись в более длинной жизни.

VI

Обними чистый воздух, а ля ветви местных пиний:
в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.
Но и птичка из туч вниз не вернется синей,
да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.
Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,
выси и проч. брезгают гладью кожи.
Тело обратно пространству, как ни крути педали.

И несчастны мы, видимо, оттого же.
Привались лучше к портику, скинь бахилы,
сквозь рубашку стена холодит предплечье;
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окраину,
кроме того, что она — сырая
и превращает лицо в руину.

VII

В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
— так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре, —
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влечением прошлой
жизни к законченности, к подобью
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый, — ария их союза,
серенада, которую время оно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,
следуй — не приближаясь! — за вереницей
литер, стоящих в очередях за смыслом.
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише

— большую площадь, чем покрывает почерк!
Да и копоть твоя воспаряет выше
помыслов автора этих строчек.
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаёшь имя;
вечным пером, в память твоих subtilных
запятых, на исходе тысячелетья в Риме
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,
а не точку, — и комната выглядит как в начале.
(Сочиняя, перо мало что сочинило.)
О, сколько света дают ночами
сливающиеся с темнотой чернила!

IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.
Ястреб над головой, как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.
Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.
В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

X

Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.
С помощью мятой куртки и голубой рубахи

что-то еще отражается в зеркале гардероба.
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.
Воздух обложен комнатой, как оброком.
Сойки, вспорхнув, покидают купы
пиний — от брошенного ненароком
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо,
тут она безупречна. Так на льду Танаиса
пропадая из виду, дрожа всем телом,
высохшим лавром прикрывши темя,
бредут в лежащее за пределом
всякой великой державы время.

XI

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса.
Вы — источник бессмертья: знавшие вас нагими
сами стали катуллом, статуями, траяном,
августом и другими. Временные богини!
Вам приятнее верить, нежели постоянным.
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!
Белый на белом, как мечта казимира,
летним вечером я, самый смертный прохожий
среди развалин, торчащих как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

ХII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я благодарен за все; за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже кроющих мне пустоту, раз она — Твоя. Ничего, что черна. Ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она — везде. Ты был первым, с кем это случилось, правда? Только то и держится на гвозде, что не делится без остатка на два. Я был в Риме. Был залит светом. Так, как только может мечтать обломок! На сетчатке моей — золотой пятак. Хватит на всю длину потемок.

Прилив

I

В северной части мира я отыскал приют,
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют
с криком поверхность рябых зеркал.

Здесь не прийти в себя, хоть запишись на ключ.
В доме — шаром покати, и в станке — кондей.
Окно с утра занавешено рванью туч.
Мало земли, и не видать людей.

В этих широтах панует вода. Никто
пальцем не ткнет в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»
Горизонт себя выворачивает, как пальто,
наизнанку с помощью рыхлых волн.

И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез
либо лампа темнит — трогаешь ихний кряк,
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».

II

В северной части мира я отыскал приют,
между сырым аквилонном и кирпичом,
здесь, где подковы волн, пока их куют,
обрастают гривой и ни на чем

не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привел их в движение, на себя
приучить их оглядываться не успел!

Здесь кривится губа, и не стоит базлать
про квадратные вещи, ни про свои черты,
потому что прибор неизбежнее, чем базальт,
чем прилипший к нему человек, чем ты.

И холодный порыв затолкает обратно в пасть
лай собаки — не то что твои слова.
При отсутствии эха вещь, чтобы ее украсть,
увеличить приходится раза в два.

III

В ветреной части мира я отыскал приют.
Для нее я — присохший ком, но она мне — щит.
Здесь меня найдут, если за мной придут,
потому что плотная ткань завсегда морщит.

В этих широтах цвета дурных дрожжей,
карту избавив от пограничных дряг,
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,
расстилается, издавая ляг.

И, один приглашенный на этот бескрайний пир,
я о нем отзовусь, кости не в пример, тепло.
Потому что, как ни считай, я из чаши пил
больше, чем по лицу текло.

Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.
Но куда Борей забираться в скулу горазд
и пока толковище в разгаре, пока волну
давит волна, никто тебя не продаст.

IV

В северной части мира я водрузил кирпич!
Знай, что душа с временем пополам
может все повторить, как попугай, опричь
непрерывности, свойственной местным сырым делам!

Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»
Можно выдернуть нитку, но не найдешь иглы.
Плюс пустые дома стоят как давным-давно
отвернутые на бану углы.

В ветреной части мира я отыскал приют.
Здесь никто не крикнет, что ты чужой, —
убирайся назад, и за постой берут
выцветаньем зрочка, ржавую чешуей.

И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,
как монах либо мусор, обутий в жечь.
И громоздкая письменность с ревом идет на слом,
никому не давая себя прочесть.

V

Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.
Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»

Все равно, на какую букву себя послать,
человека всегда настигает его же храп,
и, в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,
шевелясь, разбираешь, как донный краб.

Вот про что напевал, пряча плавник, лихой
небожитель, прощенного в профиль бледней греха,
заливая глаза на камнях ледяной ухой,
чтобы ты наострился слагать из костей И. Х.

Так впадает — куда, стыдно сказать — клешня.
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,
чтоб по волнам ступать, не держась перил.

Бюст Тиберия

Приветствую тебя две тыщи лет
спустя. Ты тоже был женат на бляди.
У нас немало общего. К тому ж,
вокруг — твой город. Гвалт, автомобили,
шпана со шприцами в сырых подъездах,
развалины. Я, заурядный странник,
приветствую твой пыльный бюст
в безлюдной галерее. Ах, Тиберий,
тебе здесь нет и тридцати. В лице
уверенность скорей в послушных мышцах,
чем в будущем их суммы. Голова,
отрубленная скульптором при жизни,
есть, в сущности, пророчество о власти.
Все то, что ниже подбородка, — Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев — наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате — бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. Пиши ты свой портрет,
он состоял бы из сплошных извилин.

Тебе здесь нет и тридцати. Ничто
в тебе не останавливает взгляда.
Ни, в свою очередь, твой твердый взгляд
готов на чем-либо остановиться:
ни на каком-либо лице, ни на
классическом пейзаже. Ах, Тиберий!
Какая разница, что там бубнят
Светоний и Тацит, ища причины

твоей жестокости! Причин на свете нет,
есть только следствия. И люди — жертвы следствий.
Особенно в тех подземельях, где
все признаются — даром что признавая
под пыткой, как и исповеди в детстве,
однообразны. Лучшая судьба —
быть непричастным к истине. Понеже
она не возвышает. Никого.
Тем паче цезарей. По крайней мере,
ты выглядишь способным захлебнуться
скорее в собственной купальне, чем
великой мыслью. Вообще — не есть ли
жестокость только ускоренье общей
судьбы вещей? свободного паденья
простого тела в вакууме? В нем
всегда оказываешься в момент паденья.

Январь. Нагроможденье облаков
над зимним городом, как лишний мрамор.
Бегущий от действительности Тибр.
Фонтаны, бьющие туда, откуда
никто не смотрит — ни сквозь пальцы, ни
прищурившись. Другое время!
И за уши не удержать уже
взбесившегося волка. Ах, Тиберий!
Кто мы такие, чтоб судить тебя?
Ты был чудовищем, но равнодушным
чудовищем. Но именно чудовищ —
отнюдь не жертв — природа создает
по своему подобию. Гораздо
отраднее — уж если выбирать —
быть уничтоженным исчадьем ада,
чем невзрастеником. В неполных тридцать,
с лицом из камня — каменным лицом,
рассчитанным на два тысячелетья,
ты выглядишь естественной машиной

уничтожения, а вовсе не
рабом страстей, проводником идеи
и прочая. И защищать тебя
от вымысла — как защищать деревья
от листьев с ихним комплексом бессвязно,
но внятно ропщущего большинства.

В безлюдной галерее. В тусклый полдень.
Окно, замызганное зимним светом.
Шум улицы. На качество пространства
никак не реагирующий бюст...
Не может быть, что ты меня не слышишь!
Я тоже опрометью бежал всего
со мной случившегося и превратился в остров
с развалинами, с цаплями. И я
чеканил профиль свой посредством лампы.
Вручную. Что до сказанного мной,
мной сказанное никому не нужно —
и не впоследствии, но уже сейчас.
Не есть ли это тоже ускоренье
истории? успешная, увы,
попытка следствия опередить причину?
Плюс, тоже в полном вакууме — что
не гарантирует большого всплеска.
Раскаяться? Переверстать судьбу?
Зайти с другой, как говорится, карты?
Но стоит ли? Радиоактивный дождь
польет не хуже нас, чем твой историк.
Кто явится нас проклинать? Звезда?
Луна? Осатаневший от бесчисленных
мутаций, с рыхлым туловищем, вечный
термит? Возможно. Но, наткнувшись в нас
на нечто твердое, и он, должно быть,
слегка опешит и прервет буренье.

«Бюст, — скажет он на языке развалин
и сокращающихся мышц, — бюст, бюст».

*

* * *

Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору — разгул Пинкертонам,
и себя настагаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —
пар клубами, как профиль дракона.
Помолись лучше вслух, как второй Назорей,
за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозванных царей
и за всех детей в колыбелях.

*

* *

Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее,
Так раздеваются догола.

Но — останавливаются. И заросли
скрывают дальнейшее, как печать
содержанье послания. А казалось бы —
с лабии и начать . . .

Луна, изваянная в Монголии,
прижимает к бесчувственному стеклу
прыщавую, лезвиями магнолии
гладко выбритую скулу.

Как войску, пригодному больше к булочным
очередям, чем кричать «ура»,
настоящему, чтоб обернуться будущим,
требуется вчера.

Это — комплекс статуи, слиться с теменью
согласной, внутренности скрепя.
Человек отличается только степенью
отчаянья от самого себя.

*
* *
*

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озираю полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока с горем рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980 г.

Жизнь в рассеянном свете

Грохот цинковой урны, опрокидываемой порывом
ветра. Автомобили катятся по булыжной
мостовой, точно вода по рыбам
Гудзона. Еще слышный
голос, принадлежащий Музе,
звучащий в сумерках как ничей, но
ровный, как пенье зазимовавшей мухи,
нашептывает слова, не имеющие значенья.

Неразборчивость буквы. Всклокоченная капуста
туч. Светило, наказанное за грубость
прикосновенья. Чье искусство —
отнюдь не нежность, но близорукость.
Жизнь в рассеянном свете! и по неделям
ничего во рту, кроме бычка и пива.
Зимой только глаз сохраняет зелень,
обжигая голое зеркало, как крапива.

Ах, при таком освещении вам ничего не надо!
Ни торжества справедливости, ни подруги.
Очертания вещи, как та граната,
взрываются, попадая в руки.
И конечности коченеют. Это
оттого, что в рассеянном свете холод
демонстрирует качества силуэта —
особенно, если предмет немолод.

Спеть, что ли, песню о том, что не за горами?
о сходстве целого с половинкой,
о чувстве, будто вы загорали
наоборот: в полнолуние, с финкой.
Но никто, жилку надув на шее,
не подхватит мотивчик ваш. Ни ценитель,
ни нормальная публика: чем слышнее
куплет, тем бесплотнее исполнитель.

*

* *

Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве
все подозрительно: подпись, бумага, числа.

Даже ребенку скучно в такие цацки;
лучше уж в куклы. Вот я и разучился.

Теперь, когда мне попадается цифра «девять»
с вопросительной шейкой (чаще всего под утро)
или (за полночь) «двойка», я вспоминаю лебедь,
плывущую из-за кулис, и пудра
с потом щекочит ноздри, как будто запах
набирается как телефонный номер
или — шифр сокровища. Знать, погорев на злаках
и серпах, я что-то все-таки сэкономил!

Этой мелочи может хватить надолго.

Сдача лучше хрусткой купюры, перила — лестниц.

Брезгуя шелковой кожей, седая холка
оставляет вообще далеко наездниц.

Настоящее странствие, милая амазонка,
начинается раньше, чем скрипнула половица,
потому что губы смягчают линию горизонта,
и путешественнику негде остановиться.

*

* *

В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой,
и одна в углу говорила мне: «Молодой!
Молодой, поди, кому говорю, сюда».
И я шел, хотя голова у меня седа.

А в другой — красной дранкой свисали со стен ножи,
и обрубок, качаясь на яйцах, шептал: «Бежи!».
Но как сам не в пример не мог шевельнуть ногой,
то в ней было просторней, чем в той, другой.

В третьей — всюду лежала толстая пыль, как жир
пустоты, так как в ней никто никогда не жил.
И мне нравилось это лучше, чем отчий дом,
потому что так будет везде потом.

А четвертую рад бы вспомнить, но не могу,
потому что в ней было, как у меня в мозгу.
Значит, я еще жив. То ли там был пожар,
либо — лопнули трубы. И я сбежал.

В Италии

Роберто и Флер Калассо

И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.

Теперь там садится солнце, кариатид слепа.
Но тех, кто любили меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принимают к обедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
голоса в отдалении, выкрики типа «гад!
уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.
Человек, дожив до того момента, когда нельзя
его больше любить, брезгуя плыть противу
бешеного течения, прячется в перспективу.

1985

Послесловие

I

Годы проходят. На бурой стене дворца
появляется трещина. Слепая швея, наконец, продевает
нитку
в золотое ушко. И Святое Семейство, опав с лица,
приближается на один миллиметр к Египту.

Видимый мир заселен большинством живых.
Улицы освещены ярким, но посторонним
светом. И по ночам астроном
скрупулезно подсчитывает количество чаевых.

II

Я уже не способен припомнить, когда и где
произошло событие. То или иное.
Вчера? Несколько дней назад? В воде?
В воздухе? В местном саду? Со мною?

Да и само событие — допустим, взрыв,
наводнение, ложь бабы, огни Кузбасса —
ничего не помнит, тем самым скрыв
либо меня, либо тех, кто спасся.

III

Это, видимо, значит, что мы теперь заодно
с жизнью. Что я сделался тоже частью
шелестящей материи, чье сукно
заражает кожу бесцветной мастью.

Я теперь тоже в профиль, верно, не отличим
от какой-нибудь латки, складки, трико паяца,
долей и величин, следствий или причин —
от того, что можно не знать, сильно хотеть, бояться.

IV

Тронь меня — и ты тронешь сухой репей,
сырость, присущую вечеру или полдню,
каменеломню города, ширь степей,
тех, кого нет в живых, но кого я помню.

Тронь меня — и ты заденешь то,
что существует помимо меня, не веря
мне, моему лицу, пальто,
то, в чьих глазах мы, в итоге, всегда потеря.

V

Я говорю с тобой, и не моя вина,
если не слышно. Сумма дней, намозолив
человеку глаза, так же влияет на
связки. Мой голос глух, но, думаю, не назойлив.

Это — чтоб лучше слышать кукареку, тик-так,
в сердце пластинки шаркающую иголку.
Это — чтоб ты не заметил, когда я умолкну, как
Красная Шапочка не сказала волку.

Элегия

Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы, к научившимся крылья расправлять у опасной бритвы или же — в лучшем случае — у удивленной брови птицам цвета то сумерек, то испорченной крови.

Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток, бронзой загорелых доспехов, погасшей улыбкой, грозной мыслью о свежих резервах, памятью об изменах, оттиском многих тел на выстиранных знаменах.

Все зарастает людьми. Развалины — род упрямой архитектуры, и разница между сердцем и черной ямой невелика — не настолько, чтобы бояться, что мы столкнемся однажды вновь, как слепые яйца.

По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит, я отправляюсь пешком к монументу, который отлит из тяжелого сна. И на нем начертано: Завоеватель. Но читается как «завыватель». А в полдень — как «забыватель».

*

* *
*

Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту».
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье, — волнуясь,
ты бы вставила, — не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за наименьшем тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть извилин! — вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.

К Урании

И. К.

У всего есть предел: в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист — в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.
Пустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
Оттого-то Урания старше Клио.
Днем и при свете слепых коптилок
видишь: она ничего не скрыла,
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо — город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.

Примечания папоротника

*Gedenke meiner
flüstert der Staub
Peter Huhel*

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдальеке — что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
— что объявился преемник: студент? хирург?
инженер? По названию станции — Одинбург —
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены — судьей или вообще
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-то, а примет у нас природа не отберет.
Херувим — тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв; что вы,
скорей всего, кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене
приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине,
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам в клубе.
настолько она оглушительна; некий антиобстрел.
Впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.
В этом — заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
«не забывай меня» шепчет пыль руке
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.
По сверканью звезды — что жалость отменена,
как уступка энергии низкой температуре
либо как указанье, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге — бесстрашие в миниатюре.

Внимай же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья.

Элегия

Постоянство суть эволюция принципа помещения
в сторону мысли. Продолжение квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же Клаузевиц, голоса или извилин.
О, сжавшаяся до размеров клетки
мозга комната с абажуром,
шкаф типа «гей, славяне», четыре стула,
козетка, кровать, туалетный столик
с лекарствами, расставленными наподобье
кремля или, лучше сказать, нью-Йорка.
Умереть, бросить семью, уехать,
сменить полушарие, дать вписать
другие овалы в четырехугольник
— тем громче пыльное помещенье
настаивает на факте существованья,
требуя ежедневных жертв от новой
местности, мебели, от силуэта в желтом
платье; в итоге — от самого себя.
Пауку — одно удовольствие заштриховать пятый угол.
Эволюция — не приспособление вида
к незнакомой среде, но победа воспоминаний
над действительностью. Зависть ихтиозавра
к амебе. Расхлябанный позвоночник
поезда, громяющий в темноте
мимо плотно замкнутых на ночь створок
деревянных раковин с их бесхребетным, влажным,
жемчужину прячущим содержимым.

1988

Бегство в Египет

... погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительный навык
свеченья — не только в державе чернявых,
сейчас, — но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

25-е дек. 1988

Памяти отца: Австралия

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и обон: квартиру никак не снимут,
жалко, не в центре, а около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги, «А тапочки я оставил», —
прозвучавшее внятно и деловито.
И внезапно в трубке завывло «Аделаида! Аделаида!»,
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога —
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

*
* *

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал на галерке китайским веером
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к
финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-
химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквах в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошную
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.

Ландсвер Канал, Берлин

Канал, в котором утопили Розу
Л., как погашенную папиросу,
практически почти зарос.
С тех пор осыпалось так много роз,
что нелегко ошеломить туриста.
Стена — бетонная предтеча Кристо —
бежит из города к теленку и корове
через поля отмытой цвета крови;
дымит сигарой предприятие.
И чужестранец задирает платье
туземной женщине — не как Завоеватель,
а как придирчивый ваятель,
готовящийся обнажить
ту статую, которой дольше жить,
чем отражению в канале,
в котором Розу доканали.

1989

*
* *

Сюзанне Мартин

Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне
«Яникулум» новое кодро болтает на прежней фене.
Тая в стакане, лед позволяет дважды
вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды.

Восемь лет пронеслось. Вспыхивали, затухали
войны, рушились семьи, в газетах мелькали хари,
падали аэропланы, и диктор вздыхал «о, Боже».
Белье еще можно выстирать, но не разгладить кожи.

Вещи затвердевают, чтоб в памяти их не сдвинуть
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем сгнуть
в ней, выходящей из города, переходящей в годы
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты.

Жизнь без нас, дорогая, мыслима — для чего и
существуют пейзажи: бар, холмы, кучевое
облако в чистом небе над полем того сраженья,
где статуи стынут, празднуя победу телосложения.

18. 1. 1989

На столетие Анны Ахматовой

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острое и усеченный волос —
Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
поскольку жизнь — одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, — тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебя благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

1989

Памяти Геннадия Шмакова

Извини за молчашие. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих — в децибелах — тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила —
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статься, тебе, хвастуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в делях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, — будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать «херувим, серафим»,
но — трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденский ельник,
это — ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, поделеньник.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сантименты сильнее без вместилищ
и постскриптум махровой стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажившихся роц кипарис,
пьяный пенъем великой гречанки,

— окликать тебя без толку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере,

ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вешься вверх струйкой пара над кофс,
треплешь парк, набегаешь волной
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек — вопреки
песне хора — во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак —
бунта листьев, падения хунты —
часть всего, заурядный тик-так;
проще — топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою «вольному — воля»
до разреженной внешней среды,
максимально — магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя,
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21-е авг. 1989 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Нобелевская лекция	5
Сад	19
Литература	21
Песенка	23
<i>Теперь все чаще чувствую усталость...</i>	24
<i>Приходит время сожалений</i>	25
Сонет	27
Рождественский романс	28
Через два года	30
Я как Улисс	31
<i>Бессмертия у смерти не прошу...</i>	33
Июльское интермеццо	35
1. В письме на Юг	35
2. <i>Люби проездом родину друзей...</i>	37
4. <i>Воротишься на родину. Ну что ж...</i>	38
5. Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона	39
6. Романс	41
7. Современная песня	42
8. Июльское интермеццо	43
9. Августовские любовники	45
10. Проплывают облака	46
Письмо к А. Д.	48
<i>Прошел сквозь монастырский сад...</i>	50
Стансы городу	51
<i>Ни тоски, ни любви, ни печали...</i>	52
Диалог	53
Инструкция опечаленным	55
<i>Под вечер он видит, застывши в дверях...</i>	56
<i>Был чёрный небосвод светлей тех ног</i>	59
<i>Затем, чтоб пустым разговорцем...</i>	61
<i>Пограничной водой наливается куст...</i>	62
<i>Эстонские деревья озабоченно...</i>	63
Стансы	64
От окраины к центру	65
<i>Ты покачнешь во мраке по бескрайним холодным холмам...</i>	70
Сонет	72
<i>Я обнял эти плечи и взглянул...</i>	73
<i>В деревне Бог живет не по углам...</i>	74
<i>Дни бегут надо мной...</i>	75
Орфей и Артемиды	76

1 января 1965 года	77
Вечером	78
Пророчество	79
<i>Как тюремный засов...</i>	81
Стихи на смерть Т. С. Элиота	83
Одной поэтессе	86
Остановка в пустыне	89
1 сентября	92
Открытка из города К.	93
<i>Отказом от скорбного перечня — жест...</i>	94
Фонтан	96
Аппо Domini	98
К Ликомеру, на Скирос	101
Элегия	103
Сонет	104
Подсвечник	105
Эней и Дидона	107
Семь лет спустя	108
Зимним вечером в Ялте	110
Конец прекрасной эпохи	111
<i>Я всегда твердил, что судьба — игра...</i>	114
24 декабря 1971 года	116
Одному тирану	118
Похороны Бобо	119
Песня невинности, она же — опыта	121
<i>Мы не пьем вина на краю деревни...</i>	124
Сретенье	127
Одиссей Телемаку	130
В озёрном краю	131
<i>Осенний вечер в скромном городке...</i>	132
На смерть друга	134
Лагуна	135
На смерть Жукова	139
Двадцать сонетов к Марии Стюарт	141
Мексиканский дивертисмент	152
Гуернавка	152
<i>Отброси. и пальмы. Выделив платан...</i>	153
<i>Конец июля прячется в дожди...</i>	154
1867	155
Мерида	156
В отделе «Континенталь»	157
Мексиканский романсеро	158
<i>Вечерний Мехико-Сити...</i>	158

<i>Сад громоздит листву и...</i>	159
<i>Вечерний Мехико-Сити...</i>	160
<i>Что-то внутри, похоже...</i>	160
<i>Веселый Мехико-Сити...</i>	161
<i>Стелющаяся полого...</i>	162
К Евгению	162
Заметка для энциклопедии	164
Часть речи	166
<i>Ниоткуда с любовью...</i>	166
<i>Север крошит металл, но щадит стекло...</i>	167
<i>Узнаю этот ветер, налетающий на траву...</i>	168
<i>Это — ряд наблюдений...</i>	169
<i>Потому что каблук оставляет следы — зима...</i>	170
<i>Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с...</i>	171
<i>Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...</i>	172
<i>Что касается звезд, то они всегда...</i>	173
<i>В городке, из которого смерть расползлась по школьной карте...</i>	174
<i>Около океана, при свете свечи; вокруг...</i>	175
<i>Ты забыла деревню, затерянную в болотах...</i>	176
<i>Тихотворение мое, мое немое...</i>	177
<i>Темно-синее утро в заиндевевшей раме...</i>	178
<i>С точки зрения воздуха, край земли...</i>	179
<i>Заморозки на почве и облысение леса...</i>	180
<i>Всегда остается возможность выйти из дома на...</i>	181
<i>Итак, прогревает. В памяти, как на меже...</i>	182
<i>Если что-нибудь петь, то перемену ветра...</i>	183
<i>... при слове «грядущее» из русского языка...</i>	184
<i>Я не то что схожу с ума, но устал за лето...</i>	185
<i>Как давно я топчу, видно по каблуку...</i>	186
Развивая Платона	187
Шорох акации	191
<i>Восходящее желтое солнце следит косыми...</i>	192
Шведская музыка	193
Bagatelle	194
Роттердамский дневник	197
<i>Я распугивал ящериц в зарослях чаппарала...</i>	198
Письма династии Минь	199
Элегия	201
Полонез: вариация	202
Венецианские строфы (1)	204
Венецианские строфы (2)	207
Римские элегии	210

Прилив	217
Бюст Тиберия	221
<i>Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...</i>	224
<i>Вечер. Развалины геометрии...</i>	225
<i>Я входил вместо дикого зверя в клетку...</i>	226
Жизнь в рассеянном свете	227
<i>Ты узнаешь меня по почерку. В нашем ревнивом царстве...</i>	228
<i>В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой...</i>	229
В Италии	230
Послесловие	231
Элегия	233
<i>Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...</i>	234
К Урании	235
Примечания папоротника	236
Элегия	238
Бегство в Египет	239
Памяти отца: Австралия	240
<i>Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...</i>	241
Ландсвер Канал, Берлин	242
<i>Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне...</i>	243
На столетие Анны Ахматовой	244
Памяти Геннадия Шмакова	245

Бродский И.

**Б88 Стихотворения. — Таллинн: Александра, 1991; Ээсти
раамат, 1991. 256 с.**

ISBN 5—450—01566—6

Книга лирических стихотворений лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. В сборник вошла также Нобелевская лекция, прочитанная поэтом при вручении ему высокой награды.

Б 4702700200—360 13—91

84.3Р

Тартуская типография

1121

С 1972 года русский поэт Иосиф Бродский живет в США. Он считается не только признанным лидером русскоязычных поэтов, но и одной из самых значительных фигур в современной мировой поэзии. Его творчество переводится на все основные языки мира.

В США вышел целый ряд поэтических сборников И. Бродского: «Стихотворения и поэмы» (1965), «Остановка в пустыне» (1970), «В Англии» (1977), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Часть речи» (1977) «Римские элегии» (1982), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987). Кроме того, вышла его трехактная драма «Мрамор» (1984) и по-английски книга эссе «Меньше, чем один» (1986).

Настоящий сборник составлен из лирических стихотворений разных лет. В книгу включена также лекция, прочитанная И. Бродским при вручении ему Нобелевской премии, который поэт был удостоен в 1987 году.